Александр Щипков

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР**

*От экономического гегемонизма — к консенсусу традиций*

Санкт-Петербург 2015

Алетейя

УДК 321.01

ББК 66.1

Щ 861

ISBN 978-5-906792-00-6

Научное издание

Рецензенты:

Доктор исторических наук, профессор С.В. Перевезенцев,

факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Доктор философских наук, профессор Л.В. Поляков,

департамент политической науки НИУ – Высшая школа экономики

Главный сюжет нашего времени диктуется ходом мирового кризиса. "Национальная история как общественный договор" - собрание небольших глав, подчиненных основной проблеме нашего времени. "Конец истории" не состоялся, история возвращается. Однополярный мир, мир глобальной экономики, ссудного процента и культурной гегемонии распадается на части. Либеральное общество на пороге утраты идеологии. Смысл понятий «демократия», «право», «мораль», «европейские ценности» вскоре каждый будет определять сам. Какой консенсус объединит мир в новую эпоху? Какую роль в этом консенсусе сыграют христианские ценности и социальная справедливость? В книге рассмотрены политические и идеологические "развилки", которые определят будущее России и мирового сообщества

©А. В. Щипков, 2015

©Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

ISBN 978-5-906792-00-6

**Alexander Shchipkov**. National history as a social contract: from economic hegemonism to an agreement between traditions. – Saint-Petersburg: Aletheia, 2015. – 88 p.

The main subject of our time is imposed by the course of the world crisis. “**National history as a social contract**” is a collection of small chapters relevant to this main problem of our time. The “end of history” hasn’t come, the history is returning. The unipolar world of the global economy, interest rate and cultural hegemony is falling to pieces. Liberal society is on the threshold of losing its ideology. Soon each one will determine for oneself the meaning of such terms as *democracy, law, morality* and *European values*. Which consensus will unite the world in the new era? What role will Christian values and social justice play in this consensus? The book examines political and ideological “crossroads” that will determine the future of Russia and the global community.

ISBN 978-5-906792-00-6

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Глобализация достигла своих пределов. Век правовых и политических «универсалий» подходит к концу, мир на глазах децентрализируется. Что ожидает общество в ближайшее время? Возможность выйти из мирового кризиса с минимальными потерями получит тот, кто заранее это определит и просчитает развитие ситуации. Кто в числе первых начнёт проводить политику в соответствии с новыми условиями, у того и будет стартовое преимущество.

Уже понятно, что отныне содержание понятий «демократия», «право», «мораль», «европейские ценности» каждый будет определять сам. Ближайшие десятилетия станут десятилетиями региональных лидеров и локальных конфликтов. Сегодня мы можем это наблюдать на примере таких процессов, как вялотекущий распад Украинской империи, возвращение Крыма в Россию, парад намечающихся суверенитетов, структурное ослабление ЕС и рост взаимных претензий у стран — членов Евросоюза. Следовательно, главную роль в конфликтах будущего будут играть не золотовалютные резервы и экономические рейтинги, а более долгосрочный — исторический капитал: традиции, идентичности, исторические миссии наций и народов. Тезис Френсиса Фукуямы о «конце истории», озвученный более 20 лет назад, опровергнут реальным ходом событий.

История не закончилась. История возвращается. Откуда ветер истории дует в мир, мы не знаем, но его порывы становятся всё сильнее.

Осознание этого факта заставило европейцев несколько лет назад заявить устами Ангелы Меркель о конце мультикультурализма. Это была не антимиграционная мера и не провал культурной ассимиляции, а разворот официальной европейской политики навстречу новым политическим трендам и вызовам. Вопросы политкорректности, власть евростандартов и международных институтов уступают место новой пассионарности. В ближайшее время миру предстоит пересобрать себя заново, сложить новые комбинации из знакомых идентичностей.

Что должна сделать Россия, чтобы не опоздать к наметившейся трансформации мира? Прежде всего: необходимо в сжатые сроки доформировать и сформулировать свою собственную идентичность. О важности этой проблемы говорил Патриарх Кирилл в ноябре 2014 года на Всемирном Русском Народном Соборе. «Нехватка» идентичности и неготовность российских элит играть по новым правилам могут привести к нестабильности в России. Как избежать этого неблагоприятного сценария?

В этой книге мы постарались проанализировать чувствительные точки в политике и идеологические «развилки», от которых зависит ближайшее историческое будущее.

Мир движется от экономического и военного гегемонизма к договору традиций и новому моральному консенсусу. Именно поэтому главным проблемным полем следует считать связь между политикой, макроэкономикой и традицией, традиционными ценностями. Сегодня это очевиднее, чем несколько лет назад. Связующим началом в треугольнике «экономика — политика — религия» является и гигантская власть информационных технологий, и неизбежность нового морального консенсуса в мире. Прежний консенсус был разрушен отходом от биполярной мировой системы, отрывом от России её исторических территорий, развалом Югославии, аннексией Косово, мировым экономическим кризисом и уничтожением остатков международного права.

Сегодня актуальна тема новых механизмов и гарантий стабильности. В этом контексте встаёт вопрос о близости христианской этики и принципов социального государства, поскольку восстановление в правах и того и другого вполне возможно в ближайшее время. Для населения России критически важен набирающий силу процесс социализации русского православия. Именно поэтому первая часть книги посвящена проблемам, находящимся на стыке политики и религии. Нынче граница между религиозным и светским становится всё более размытой. Учёные всё чаще говорят о наступлении эпохи постсекулярности. В связи с этим мы уделили большое внимание концепции постсекулярности и явлениям десекуляризации, секулярной религиозности и религиозной секулярности. Один из ярких примеров последней — феномен политической эсхатологии неолиберализма (образ «мирового зла»), проанализированный нами в одной из глав. Вторая часть книги посвящена более широкому кругу проблем. Здесь исследованы задачи, стоящие сегодня перед историками, и круг проблем, связанных с «переписыванием истории». Рассматриваются вопросы, связанные с судьбой традиционной демократии, истоками современного неонацизма и несостоятельностью теории двойного тоталитаризма. Последняя глава посвящена сложному характеру российской экономики, факторам хлебной и углеводородной зависимости. Таким образом, начав с ценностных вопросов, мы подводим читателя к разговору об экономических механизмах истории.

Но, по нашему глубокому убеждению, и экономические кризисы, и национальные противоречия, и споры вокруг нового традиционализма — всё это может быть приведено к общему знаменателю лишь на основе христианской этики — подлинного базиса общеевропейской идентичности.

**СОСТОЯНИЕ ПОСТСЕКУЛЯРНОСТИ**

Долгое время считалось, что комплекс идей Просвещения (натурализм, естественное право, сциентизм, секуляризация) если не вытеснил, то сильно потеснил религиозность в общественном сознании Запада. Но в последнее время научный мир склоняется к другой точке зрения: отношения «секулярного» и «религиозного» и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веках были сложнее, чем обычное «вытеснение».

Даже 1793 год стал годом революции либеральной и антиклерикальной, но он не запустил процесс атеистической секуляризации, как это было в советской России после 1917 года. Несмотря на радикальный антиклерикализм и наступление на права церкви, французские революционеры считали атеизм безнравственной идеей и колебались между превращением католицизма в государственную религию и созданием новейшего культа некоего «Верховного Существа». Отказ от церковного арбитража в обществе, предпочтение схоластическому естественнонаучного стиля мышления принято связывать с секуляризацией. Но эти процессы имели и оборотную сторону. Секуляризация стала базовой предпосылкой для складывания новых, гражданских, светских культов. По-видимому, имел место процесс преображения и трансформации, а отнюдь не убывания «религиозности».

Иными словами, секуляризация на этом фоне представляла собой отнюдь не однонаправленный процесс. Но характерно, что к таким выводам социальные науки, в частности религиоведение, пришли лишь к концу ХХ века, когда появилась «теория рационального выбора», которую группа учёных в лице Р. Старка, У. Бэйнбриджа, Р. Финка, Л. Яннакона и других противопоставила классической «теории секуляризации» [[1]](#footnote-1).

В одной плоскости с критикой теории секуляризации идёт разработка концепции «постсекулярности», которая, впрочем, не тождественна идее «возвращения религии». Главный её смысл в том, что религиозность никуда и не уходила, но её формы трансформировались. Само понятие «постсекулярность» сравнительно новое. Интересно, что данный термин несколько лет назад возник в пространстве либеральной мысли, в частности, в работах немецкого философа Юргена Хабермаса. Речь идёт о корректировке понятия «секуляризации» (обмирщения), отражающего процесс, казавшийся однозначным и необратимым. Так, авторы сборника «Религия и секулярность. Трансформации и перемещения религиозных дискурсов в Европе и Азии»[[2]](#footnote-2),утверждают, что сегодня религиозные представления характерны для 55% населения мира, причём эта цифра неизменна вот уже в течение 20 лет. И это лишний раз ставит под сомнение общее убеждение эпохи модернити в том, что общественная роль религии снижается. Авторы считают, что постсекулярность открыл католический богослов Эугена Бизер, который ещё в 1986 году утверждал, что секуляризация миновала свой расцвет и начинает клониться к закату[[3]](#footnote-3).Луциан Хельшер в статье «Религиозное и секулярное: семантические реконфигурации в религиозной сфере Германии с XVIII по ХХ век» убедительно показывает, что превращение понятий «религиозное» и «секулярное» в некую дихотомию характерно лишь для второй половины XIX века. Более того, «в Германии лишь после Второй мировой войны в широком публичном пространстве распространяется дихотомия "религиозного", "духовного" (geistlich) и "мирского", "секулярного" (weltlich, säkular)»[[4]](#footnote-4).Причём поначалу эти термины дополняют друг друга и вовсе не являются обозначением каких-то идеологических полярностей. В значительной степени переход к «конфликтному» прочтению подтолкнула, согласно Хельшеру, школьная реформа 1891 года, когда в Германии было провозглашено создание светской школы. Это решение в чём-то напоминало ленинский декрет об «отделении церкви от школы», но было гораздо более мягким.

Итак, в ХХI веке научное сообщество вынуждено пересмотреть рамки и содержание этого понятия, поскольку сегодня общество сталкивается с феноменом секулярно-религиозной гибридности. С одной стороны, имеет место социализация и культурализация религий, открытый выход религии в сферу политического. Везде, кроме России, не преодолевшей наследия радикального атеизма, эти процессы считаются естественными; например, католическая церковь играет важную роль в консолидации континентальных европейских элит, прежде всего консервативных. С другой стороны, наблюдается подъём исламского фундаментализма. И в то же время само секулярное сознание обнаруживает в себе иррациональные, квазирелигиозные элементы (движения вроде New Age, проявления рыночного фундаментализма, доктрины политкорректности и мультикультурности, современные формы концепции естественного права, культы «демократических процедур» без демократии и т. п.). Сотрудник секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии Александр Кырлежев подчёркивает: «Иногда используют другой термин — десекуляризация. Его ввёл крупный американский социолог Питер Бергер, который в 1960-е годы был одним из теоретиков и исследователей секуляризации в Америке. К концу прошлого века он пересмотрел свои взгляды, и в 1999 году под его редакцией вышла нашумевшая книга под названием "Десекуляризация мира" с его программной статьей. Одну фразу из той статьи все цитируют до сих пор: "Современный мир столь же яростно религиозен, каким был всегда". Речь идёт о том, что религия не умерла и не умирает, если смотреть глобально — на весь мир»[[5]](#footnote-5).

Дискуссии вокруг постсекулярности идут в последнее время и в России. Здесь в начале 2014 года начал выходить научный журнал «State, Religion and Church». Взгляд на религию и — шире — традицию в этом издании является политически выдержанным. Что позволяет оценить «системные требования» к концептам традиционализма и постсекуляризма, принятые на Западе. Контент издания позволяет сделать вывод: понятие «постсекулярность» стремительно входит в социогуманитарный обиход в переходный политический период. В числе отмечаемых признаков постсекулярности — выход религий в публичное пространство. Как отмечает редактор «State, Religion and Church» Дмитрий Узланер, «постсекулярность — это возвращение религии в условиях ландшафта, сформированного масштабными процессами секуляризации. Традиционные, а сегодня уже и не совсем традиционные религии получают новый шанс сказать своё слово. Однако мир, в котором надо сказать это новое слово, уже иной. Отсюда — новые явления, новые вызовы, новые констелляции, новые трансформации...»[[6]](#footnote-6).

Но как происходит возвращение религии в условиях этого «нового ландшафта»? С точки зрения Узланера, нерв проблемы в том, что имеет место «проблематизация связи между религией и культурой и национальной идентичностью». Причём «отсоединение религии — во многом под влиянием секуляризации — от культурной и национальной почвы приводит, с одной стороны, к фундаментализму как религии, не опосредованной культурой. А с другой стороны, к чисто духовной религии — это “духовность” New Age и прочее, — намеренно порывающей с почвой во имя идеалов чистой “духовности”, незамутнённой примесью догматизма и “материализма”. Это, так сказать, обратная сторона фундаментализма, а может быть, и его сущность»[[7]](#footnote-7).

Здесь можно было бы сказать о росте числа деструктивных сект, культов и групп вроде «церкви сайентологии» или менее агрессивных квазирелигиозных течений вроде доктрины «Эры Водолея», «Третьего Завета» и т. п. По-видимому, возвращение религиозного в тех или иных формах в определённой степени связано с тем, что рыночные институты глобальной экономики подорвали авторитет фундаментальной науки — явления по определению нерыночного — и разрушили в сознании обывателя научную картину мира. Но это только один из факторов, поддерживающих состояние постсекулярности.

Мы хотели бы особо подчеркнуть, что проблематика и границы постсекулярности гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Исследуя состояние постсекулярности, недостаточно говорить только о статусе религии и об исторических формах религиозности. Необходимо ставить вопрос и о статусе самой секулярности. Ведь мы наблюдаем немало интеллектуальных гибридов — смешанных форм коллективного сознания, не оперирующих распространёнными религиозными символами, но по существу квазирелигиозных. Такого рода гибридность порождает как секулярную религиозность (вера без участия в таинствах и обрядовых практиках), так и религиозную секулярность. Последняя выражается во множестве «малых» культов и мифологий — от доктрин политкорректности, мультикультурности трансгуманизма до мифологем «оранжевых революций», до товарного фетишизма и специфической квазикосмологии мира-как-супермаркета. К этому же ряду нужно отнести элементы политической эсхатологии (образ «мирового зла») в современном неолиберализме. А также коллективные фобии, создаваемые для легитимации неконституционных форм контроля за гражданами — например, «антитеррористических мер», принимавшихся на фоне «синдрома 11 сентября».

Порой этот процесс затрагивает даже людей науки. Вот как публицист Дмитрий Данилов описал это явление на примере авторов знаменитого «письма академиков» 2007 года: «Письмо написано не столько учёными, сколько истово верующими людьми. Для них материализм, дарвинизм… не предметы критического анализа. Это предметы веры, истины в последней инстанции, не подлежащие сомнению и пересмотру. Любое посягательство на эти истины повергает жрецов от науки в священный трепет и гнев… Эти люди вовсе не радеют за науку, не боятся, что “наука погибнет”. Они боятся, что в один прекрасный день наука окажется… просто наукой. Ни больше ни меньше»[[8]](#footnote-8).

Отдельно стоит упомянуть теории переосмысления и мифологизации биологического статуса индивида, в частности, гендерную теорию пола, концепцию семьи как группы индивидуумов, связанной контрактными отношениями. Здесь мы сталкиваемся с феноменом подвижных и отчужденных идентичностей, проектируемых с помощью «формирующих» практик из области социологии и психологии. Этот процесс направлен на создание рынка идентичностей, где социальный, антропологический и биологический статусы личности включены в цепочки рыночного обмена. Так, семейные отношения и поддержание родственных связей в перспективе могут из категории неотъемлемых человеческих прав перейти в категорию социальных привилегий, платных или доступных с санкции властных инстанций.

Во всех перечисленных случаях граница между религиозным (точнее, квазирелигиозным) и секулярным также нарушена. Переосмысление указанных понятий и категорий иррационально в своей основе.

Секулярные культы неизбежно порождают иррациональные модели сознания. Роль рационального выбора в этих моделях явно ниже, чем это было в «идеологичном» ХХ веке, когда властные практики должны были быть рационально обоснованы. Например, научный коммунизм как легитимирующая идеология советской общественной модели представлял собой вполне рационалистическую модель легитимации власти, независимо от качества самой власти. Но именно в силу высокого уровня аргументации советский марксизм наряду с фрейдизмом попал в число теорий, которым последователи фальсификационистской доктрины Карла Поппера отказывали в научном статусе — по причине «невозможности фальсификации» этих теорий[[9]](#footnote-9).

Таким образом, в рамках либеральной эпистемы происходит как бы утрата рационализма. На смену классическим идеологиям, имеющим сциентистские либо религиозные истоки, приходят гибридные явления — гражданские культы. То есть интеллектуальные системы с пониженным уровнем рациональности и философской фундированности, но обладающие высокой суггестивностью и способностью регулировать социальное поведение. Разумеется, эти системы обладают и новым интеллектуальным инструментарием, основанным во многом на лингвистических и риторических стратегиях.

В целом идея исторического устаревания религиозного сознания по мере роста научного знания и прогресса, характерная как для коммунистической, так и для либеральной идеологий, сегодня выглядит наивной. И не только из-за востребованности церковных институтов, но и из-за расширения самого феномена религиозности. Религиозность проявляет себя как явление не временное и не исторически неизменное, а скорее переходное. В пользу этой точки зрения говорит и снижение статуса научно-критического мышления эпохи модернити в век информационных технологий. По-видимому, любая парадигма общественного знания содержит в себе сакральные, религиозные компоненты, поскольку сам процесс мышления включает в себя функцию сакрализации. Сегодняшние процессы в экономике и политике идут не по либеральной «прямой» и не по марксовой «спирали», а по принципу отклоняющегося маятника. Вырисовывающийся в перспективе общественно-экономический строй пока не напоминает ни поздний капитализм, ни книжный социализм, но скорее денежный феодализм. Аналогичным образом и в сфере идей заметно движение этого отклоняющегося маятника. Он не возвращает нас назад, но создаёт ощущение некоего исторического ремейка. Так, на смену идеократии, классической научности, идеоцентризму идёт феномен нового синкретизма — типа сознания, характерного для Средневековья. Вот только грядущая постсекулярная эпоха может оказаться лишённой спасительного в моральном отношении якоря христианства. Человечество может быть поглощено стихией неоязыческих культов, тематизированных на языке цифровой эпохи. Впереди нас, возможно, ожидает «другое Средневековье». Не «новое Средневековье», о котором писал Николай Бердяев, но «альтерсредневековый» период — «альтернативный» языческий вариант когда-то пройденной эпохи. Отмеченный явлениями десекуляризации, религиозной секулярности, а возможно, и секулярной религиозности. Будет ли религиозная секулярность на этом отрезке истории носить неоязыческий характер, предугадать сложно. Есть надежда на то, что общество всё же предпочтёт такому сценарию моральный консенсус на основе христианской этики. В этом выборе и заключается главный смысл грядущей «борьбы за традицию», за её новый облик.

В 1990-е французский философ Ж.-Ф. Лиотар говорил о «состоянии постмодерна»[[10]](#footnote-10). Сегодня мы говорим о «состоянии постсекулярности».

Одна из предпосылок формирования постсекулярности — ситуация «после постмодерна». В условиях смерти «больших нарративов» и интеллектуальных иерархий наступило время «малых нарраций», как и предсказывали теоретики постмодернизма. Но в основе этих нарраций нередко лежат интеллектуальные феномены самого архаичного свойства — проявления религиозного фундаментализма, культур- и этнонацизма. Ситуацию «альтерсредневековости» отражает, в частности, радикализация исламских умм, приход к власти на Ближнем Востоке фундаменталистских движений (ИГИЛ и «Аль-Каида»), либерал-нацизм вместо обычного либерализма (Украина), моральный террор «актуального искусства» (FEMEN, Pussy Riot). Для общества, сформировавшегося на основе ценностей эпохи Просвещения и отрицавшего «тёмное Средневековье» (dark ages), это явление парадоксально. Ведь до последнего времени любая «традиционность» была помехой власть-экономике, процессам глобализации.

Но ценности и содержания либеральной эпистемы кардинально меняются. В переходный исторический период просыпается и активизируется глубинная религиозная семантика, «дремлющая» в структуре либеральной эпистемы под «слоем» рационализма. В таком состоянии общество будет находиться ещё долго, но кардинальная трансформация неизбежна.

**ХРИСТИАНСКАЯ АКСИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО**

Христианство и левая идея имеют общие корни. На этот факт не очень любят обращать внимание, заслоняя его проблемой отношений Церкви и государства. Но вопросы «симфонии» и «конкордата» (безусловно, чрезвычайно важные) отвлекают нас сегодня от главного факта: на первом этапе существования христианство было учением для гонимых. Лишь атеистические догмы советских идеологов и прохладное отношение к церкви автора «Капитала» заставили закрыть на это глаза. Но аберрации исторического сознания не вечны. Сегодня научный мир и мир политический начинают от них избавляться. В качестве отправной точки возьмём мысль Сергея Аверинцева, которую могли бы разделить многие культурологи и религиоведы. Апостольское христианство сформировалось в условиях языческого государства и «религией господства» не могло быть по определению (цезарепапизм Средних Веков — явление иного исторического этапа).

Согласно Новому завету, христиане — «граждане неба», им чужд извечный корпоративный дух земных институций и конституций. Идеал социального равенства определён в книгах Нового завета довольно чётко: «Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос» (Кол. 3. 11).

Этот взгляд на христианство подтверждается и историческими свидетельствами: в катакомбные времена церковь представляла собой общину равных. Все решения, в том числе о распределении благ, принимались коллективно. Это отражено и в религиозных памятниках. «Деяния Святых апостолов» содержат рассказ о человеке, которому вздумалось утаить от единоверцев некое имущество. Апостол Пётр предсказывает гибельность этого поступка. И действительно, стоило отступнику выйти за пределы общины, как он упал замертво. Конечно, идея справедливости дана здесь в подчёркнуто мистической форме. Но суть её от этого не меняется.

Вспомним: мытари (по-нынешнему — сотрудники коллекторских агентств), служившие финансовой элите, постоянно приравниваются в Новом завете к фарисеям и законникам. Обратимся к житию апостола Павла. Отцам города Фессалоники говорят о Павле и его спутнике: «Эти люди, возмутившие вселенную… поступают против повелений Кесаря, называя царем другого, Иисуса» (Деян 17:6-8).

Апостолы, как мы знаем, получали удары палками и бичами, сидели в тюрьмах, их распинали и бросали в львиные канавки. Наверное, правильно будет сказать, что истинный христианин — это оппозиционер во имя человеколюбия и справедливости, а значит, во имя Христово. Закономерен вопрос: какие средства хороши для такого оппозиционера? И здесь всё просто. Согласно библейскому тексту, христиане, даже будучи распинаемы и бросаемы на съедение диким зверям, сами не брались за оружие. Иисус говорит апостолу Петру: «Вложи меч свой в ножны», и это не только сиюминутное требование, это и завет на будущее. Парадокс в том, что завет этот ничуть не противоречит сказанному Христом в другое время и в другом месте: «Не мир я принёс, но меч». Путь христианина, согласно традиции, это брань, но брань духовная.

Пути христианства в разные эпохи складывались по-разному. Часто народные движения — например, гуситы — сочетали искреннее христианство с требованиями социальной справедливости и общинным образом жизни. А вот основные течения Реформации, к сожалению, пошли противоположным путём и провозгласили личное благополучие и богоизбранность сторонами одной медали, возродив фарисейскую идею «избранности» (элитарности).

В частности, эта точка зрения отражена в широко известном «Женевском катехизисе» Жана Кальвина: «Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создаёт всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни»[[11]](#footnote-11). Впоследствии эту точку зрения активно развивали последователи (в частности, К. Барт, Р. Нибур).Понимание христианства как религии неравенства, разделение людей на «избранных» и «неизбранных», привело к трагическому перерождению христианства. За этим перерождением последовало утверждение Биржи вместо Церкви и победа идеологии общества потребления.

Связь русского православия с идеями социал-демократии имеет давнюю традицию. Одной из версий «русского социализма» мы обязаны Сергию Булгакову. А протоиерей Валентин Свенцицкий за год до катастрофы 1917-го призывает верующих голосовать за левые партии (не большевистские). К сожалению, идея социального государства в 1917 году попадает в руки политических авантюристов, оторвавших сами понятия «справедливость» и «равенство» от их духовной основы.

В последние годы ситуация меняется. «Основы социальной концепции РПЦ», принятые несколько лет назад, содержат в себе немало идей, имеющих социальное звучание. Левые мыслители со своей стороны начинают «рыть ход» в сторону апостольского христианства, хотя порой и совершают при этом грубые ошибки с точки зрения теологии и моральной аксиологии христианства. Например: «В свете же Апокалипсиса революционное насилие диктатуры пролетариата накануне Судного дня есть оборона строящегося спасительного Ковчега и насильственное обращение на путь спасения»[[12]](#footnote-12). И всё-таки попытка сближения не случайна: адепты общества справедливости испытывают настоятельную потребность в христианском обосновании своих взглядов.

Христианская традиция и идеи социал-демократии строятся на близких моральных принципах. Главный из них — любовь к ближнему. В социальном измерении этот принцип можно переформулировать так: недопустимо достигать своего благополучия за счёт благополучия другого. Либеральные концепции общества, основанные на принципе тотальной конкуренции, «войны всех против всех» и выживания сильнейшего, этому принципу не соответствуют. Здесь уместно вспомнить дарвиновскую идею «естественного отбора». Чарльз Дарвин частично заимствовал её у селекционеров-животноводов, частично из трудов Роберта Мальтуса («Опыт о законе народонаселения», 1798). Мальтус утверждал: спасти человечество от перенаселения способна лишь «естественная убыль» человеческой массы вследствие войн, эпидемий и конкурентной борьбы за место под солнцем. Он настаивал на том, что законы общества в этом смысле ничем не отличаются и не могут отличаться от законов животного мира: «настоятельная необходимость сдерживает эту чрезвычайную плодовитость, *и человек, наравне с прочими живыми существами* (курсив наш — А. Щ.), подчинён закону этой необходимости»[[13]](#footnote-13).

Будучи перенесённой из биологического контекста в круг общественных наук и обратно, идея «естественного отбора» породила так называемый социал-дарвинизм — направление мысли, утверждающее, что социальное устройство должно быть аналогично устройству животного мира. Вполне очевидно, что православный христианин, не будучи дарвинистом в онтологических вопросах, не может быть и социал-дарвинистом в вопросах общественных. Ведь для Бога ни одна тварь не лишняя, каждая подвержена лучам Его благодати и никакого «отбора» среди Божьих творений быть не может.

ХХ век породил огромное количество левых движений на Западе, не связанных пуповиной с советской официальной мыслью и зачастую не чуждающихся христианства. В первую очередь это, безусловно, идеи христианской демократии, породившие в Германии влиятельнейшую партию ХДС. Не секрет, что в Южной Америке очень сильна традиция католического марксизма, который принято называть «теологией освобождения». Во многих колледжах этой части света принято преподавать в одном семестровом цикле патристику и схоластику пополам с основами марксизма. И никого это не удивляет. Одна из причин такой «всеядности» элементарна: на Западе вообще никогда не наблюдалось столь резкого противопоставления левых идей и христианства, как в СССР.

Безусловно, интересно, что думает православный социал-демократ о сегодняшнем мировом устройстве. В 2008-м мы видели, как финансовый капитал загнал мир в состояние кризиса, построив долговую экономику, основанную на акциях-деривативах (обеспеченных не реальными активами, а другими акциями). Это уже не вполне товарная экономика, а экономика информационная, экономика события. В ней больше психологического, манипулятивного. Тем не менее мировая система («мир-экономика») не будет в ближайшее время подвержена ни революциям, ни эволюции. А вот инволюция идёт полным ходом. Например, о понятии «свободный рынок» уже можно забыть навсегда. Свободный рынок крайне «неэффективен» и «нетехнологичен». Контроль за финансовыми потоками, точнее, их распределение — давно уже точная наука.

Фактически современный строй уже нельзя называть капитализмом. Мы имеем дело с денежным феодализмом, где само право иметь активы и выходить на финансовые рынки регламентировано основными игроками. Есть страны-буржуа (центр) и страны-пролетарии (периферия). Перепрыгнуть из периферии в центр, играя «по правилам», невозможно. Черты нынешнего финансового строя — ввоз производства в страны третьего мира и, наоборот, вывоз капитала из этих стран.

Экономика и общество постпротестантского мира находятся в явном противоречии с духом апостольской общины. Эта ситуация сохраняется уже не один век, но сегодня она усугубилась.

Сегодня нарастает диктат корпораций. Современная экономическая реальность сильно отличается от мировой экономики времён Маркса. Поэтому взгляды автора «Капитала» требуют серьёзного апгрейда, который понемногу осуществляется западными историками и экономистами. Наиболее авторитетные из них, например, Иммануил Валлерстайн, выходом из замкнутого круга «мир-экономики» считают отсоединение национальной экономики от глобальной. Это требует определённых условий, таких как приоритет внутреннего рынка, внутренние кредиты, удешевление национальной валюты, прогрессивная налоговая шкала. И, конечно, справедливое распределение национального дохода. Парадокс в том, что как раз левые сегодня защищают национальные рынки, тогда как глобальная экономическая модель, напротив, играет против них в пользу глобальных интересов корпораций. И они же вольно или невольно отражают идеал христианской общинной справедливости.

Вот почему сегодня в кругах христианских социалистов укрепляется уверенность в том, что за социально ориентированный курс нужно бороться и спрашивать с собственного правительства. Ведь, с точки зрения апостольского христианства, режимы приходят и уходят, а небесная родина дана человечеству навсегда. Кесарю кесарево, а Богу — Божье.

**ФЕНОМЕН СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ**

Со времён СССР прошло более 20 лет. Срок огромный. Но в нашем отношении к церковной истории всё ещё сильно влияние идеологических клише. До сих пор иногда приходится встречаться с абсурдным утверждением, что Церковь в России является слугой государства, глашатаем его светской идеологии и, в конечном счёте, воспевает чуждый ей культ. Только заходит речь о реституции, от кого-нибудь непременно слышим: здания церквей возвращают в обмен на лояльность. Как только РПЦ предлагает учить детей нормам православной культуры, непременно кто-нибудь скажет: «Помилуйте! Это же новый обком».

И возникает впечатление, что церковь всецело поддерживает тот странный многовековой режим, который некоторые русские историки со времён Соловьева и Ключевского называют «внутренней колонизацией» и «опричной системой». Это когда в рамках одного государства две страны, большая и малая. Причём меньшая владеет большей.

Впрочем, российская ситуация не сказать чтобы очень уж уникальна. Это всего лишь следствие социал-дарвинистской морали, бесчеловечную сущность которой прозорливо, прогностически подчёркивали многие христианские мыслители эпохи патристики - в частности, святитель Григорий Нисский в своей проповеди «Против ростовщиков»[[14]](#footnote-14). С другой стороны, о том же говорили «классики» марксизма: «Дарвиновская теория борьбы за существование есть просто перенос теории Гоббса «bellum omnium contra omnes» и буржуазно-экономической теории конкуренции, а также мальтусовской демографической теории из общества в органическую природу. Сделав подобный трюк… легко перенести эти теории из естественной истории обратно в историю общества… и заявлять, что этот тезис находит подтверждение как вечный естественный закон общества»[[15]](#footnote-15).

Тогда причём здесь Церковь? Объяснения, как правило, скупы и невнятны. Ну просто потому, что ведь она плоть от плоти власти. Потому что ведь так повелось... Странно наблюдать, как антицерковные критики либерального направления вдруг переходят на ленинские позиции, в принципе им чуждые, и рассуждают в том духе, что, мол, церковь — это элемент политической надстройки, а православие — часть идеологии правящего класса.

Идеология российского правящего класса хорошо известна: накопительство и потребление. Отсюда, из эйдосферы российского гламура, маргинальной группой либеральных «православных» Церкви подбрасываются формулы «солидный Господь — для солидных господ», «православная этика и дух капитализма», «секулярное христианство». И чем дальше, тем конкретнее: чтобы быть современной, церкви, мол, необходимо отказаться «от библейской концепции греха», от «тезиса об исключительности Христа», проявить лояльность к абортам и гендерной теории пола... Порою тон представителей этой группы становится ультимативным, как это было в период «болотных» событий в 2012 году.

По этому поводу известный православный активист Филипп Грилль заметил: «Я уверен: если бы Церковь позволила использовать свой бренд для маркировки либеральных ценностей, которые лежат в основе нынешнего политического курса, её бы превознесли. Но именно это и было бы сервилизмом, огосударствлением, “иосифлянской болезнью”. Существенна именно эта политизация конфликта. Церкви выдвинули не какой-нибудь, а именно политический ультиматум. От РПЦ хотели бы поддержки ценностей определённой части правящей элиты. Получается крайне забавная ситуация. От Церкви добиваются именно того, в чём её обвиняют: “Почему бы вам не принять наши ценности, не проявить сервильность, если мы и так всех убедим в вашем сервилизме”»[[16]](#footnote-16).

Достаточно бегло пролистать «Основы социальной концепции РПЦ», чтобы убедиться в фальсифицирующей направленности мифов о «неосергианстве», государственной церкви и православном госкапитализме. Но народ наш православный, задерганный работой и спасаемый многодетностью, читает порой невнимательно. Вот и пытается, не зная сути, примирять в душе непримиримое. Любовь к элитаристским установкам «общества тотальной конкуренции» — и слово Божье.

О том, что это невозможно, неоднократно говорили как богословы, так и светские публицисты. Например, художник Максим Кантор: «В будущее возьмут не всех» — это любимый слоган новаторов ХХ века. Христос, например, считал, что в жизнь вечную возьмут всех, но в этом пункте современная цивилизация склонна придерживаться реалистического взгляда на вещи: и в жизни сегодняшней приняты не все, и в будущее всех не возьмут, не резиновое. Первым, что изъяли из будущего, оказался христианский образ»[[17]](#footnote-17).

Теперь о «симфонии» и «сервилизме». Само утверждение, что совмещённый культ кесаря и патриарха есть чаемая «симфония», — столь же пафосно, сколь и неверно. До середины XVII века в стране существовала народная теократия. Она возникла после татарского нашествия и была создана усилиями всей русской нации. Произошло это, заметим, вопреки государственному вассалитету князей перед ханами. Скажем ещё точнее: в России в этот период развивалось социальное православие. Оно продвигалось энтузиазмом Иосифа Волоцкого и его последователей. И дожило до времён Аввакума и Ивана Неронова. Отголоски этой ситуации наблюдались и в начале ХХ века, вспомним хотя бы протоиерея Сергия Булгакова.

Конечно, государство временами стремится навязать Церкви то холопские комплексы, то кодекс коммунизма, то веберовский идеал. Но Церковь, как может, противостоит этому нажиму. Стараниями Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Феодосия Печерского, митрополита Филиппа, патриархов Тихона и Сергия. Период «государственного пленения Церкви», когда она утрачивала автономию, длился со времени Раскола (Реформы) и вплоть до окончания синодального периода в 1917 году. С обер-прокурором Синода вместо патриарха во главе Церкви. Тогда члены церкви и впрямь должны были совмещать Слово Божье со словом кесаря. Они ещё не знали, не догадывались, что этот период закончится навсегда.

Вначале Церковь была отторгнута большевистской властью от общества. Это означало гибель тысяч священников. Ситуация болезненная и страшная. Она была подретуширована после 1943 года, а репрессии частично прекращены при патриархе Сергии и до конца советского периода. Но, не убив Церковь до конца, власть в начале 90-х забыла про неё на десятилетие. За это время РПЦ выпрямилась и сформировала собственную *социальную концепцию*, *не имеющую ничего общего с господствующим в официальных кругах социал-дарвинизмом*, законами джунглей и обществом борьбы всех против всех.

Церковь фактически стоит на защите социального государства. Тем не менее сегодня, упоминая о социал-демократии в кругу политологов, бывает непросто объяснить, что речь вовсе не обязательно должна идти о Ленине и Сталине. В той же Германии, кстати, феномен социальной церкви, социального христианства воспринимается куда легче и привычнее.

Но ситуацию надо менять. Не выйдя за рамки порочной объяснительной модели, нельзя двигаться вперёд. Причём прекрасные условия для этого шага сложились именно сегодня. Со времён господства госатеизма Церковь впервые оказалась свободна. Насильно закрепощать её пока никто не пытается: у государства и так хватает «непрофильных активов» вроде «социалки», пенсионеров, фундаментальной науки и проч. А вот намерение вытолкнуть РПЦ из пространства общественных дискуссий прослеживается вполне отчётливо со стороны либеральной части политической элиты. Стандартный вопрос римской Фемиды «Кому выгодно?» читатель задаст себе сам. Мы лишь подчеркнём, что попытки эти явно запоздалые: православные в России уже оформились в мощную социальную группу, голос которой можно заглушить только возвратом к прямым репрессиям.

Повторим главное: Церковь в посткоммунистический период была и остаётся автономной. Именно поэтому она не имеет не малейших резонов поддерживать систему денежного феодализма, экономику «ссудного процента» и соответствующую ей мальтузианскую идеологию, которую навязывают креативные менеджеры.

Церковь сама по себе. Она принадлежит только Господу и истории. Поэтому попытки искусственно отделить социальное служение и милосердие от духа Святого Писания тщетны. Они лишь выдают попытки либеральных идеологов соблазнить православных верующих холодным сиянием неоязыческих культов. Напрасный труд. Искусственно создаваемое гламурное православие обречено. Сочувствие, солидарность, справедливость, взаимопомощь, любовь к униженным (на их языке — к «аутсайдерам» и «лохам») не просто сочетаются с церковностью. Они необходимы для истинного поклонения Христу в духе и истине.

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ В ПОСТСЕКУЛЯРНОЙ СОВРЕМЕННОСТИ**

Сползание современного неолиберализма к открытым формам неонацизма можно считать свершившимся фактом. Правда, глобальные элиты проводят этот курс чужими руками — то исламских фундаменталистов, то киевского правительства, — но результаты и характер такой политики не зависят от наличия и количества посредников. Цели и средства очевидны, а теоретическое обоснование более чем показательно.

Ультраправый, фашистский крен в мировой политике замечают многие. Только либеральная интеллигенция, представляющая собой в России довольно сплочённую, хотя и сравнительно небольшую группу влияния с удивительной настойчивостью отрицает очевидное. Оторванные ноги донецких детей представители этой субкультуры продолжают списывать на усилия «пропагандистской машины российского режима», использование кассетных и фосфорных бомб и определение жителей Донецка и Луганска как «недолюдей» (выражение Арсения Яценюка) и насекомых («колорадов») предпочитают считать «сдержанным поведением».

В лице российских защитников геноцида киевской власти мы имеем представителей особого мировоззрения. Его можно назвать политической эсхатологией. В пределе это мировоззрение исходит из существования некоего абсолютного зла, против которого все средства хороши. Абсолютное зло с точки зрения носителя такой идеологии — это, например, «пророссийский сепаратизм», «путинский режим», а то и просто русские как национальная группа. Причём принадлежность к «абсолютному злу» — неверифицируемая категория. Она определяется не по конкретным поступкам (кто бомбит мирных жителей?), а чисто метафизически: зло — потому что зло, потому что «вне истории» — и больше нипочему.

Иногда представители этого эсхатологического «вероучения» говорят, что поддержкой донецко-луганского сепаратизма российские власти как бы предопределили дальнейшее развитие событий и дали Киеву индульгенцию на применение любых методов войны. Но те же самые люди отказываются признать, что на Майдане использование боевиков и никем не скрываемый американский след точно так же предопределили и появление жертв в ходе январских событий 2014 года. И уже ответом на это в силу экономических и языковых причин стал взрыв так называемого сепаратизма, а вернее, ирредентизма.

При прочих равных, как говорят математики, а в данном случае — при одинаковой неконстуционности киевского и донецкого «майданов» (тем более что второй был реакцией и, значит, по той же логике, был «предопределён» первым) — подавление одним майданом другого трудно считать восстановлением порядка и законности. Иными словами, отсчёт причинно-следственной цепочки в рамках политической эсхатологии ведётся от произвольно взятой, удобной точки. Системный взгляд на события отвергается вместе с моральными критериями.

В сущности, данная ситуация — не что иное, как релятивистский подход к моральным критериям в политике.

Утрата морально-нравственных ориентиров, вполне вероятно, незаметна для носителей этой идеологии. Но каждому, кто подходит к проблеме аналитически, понятно, что упорное нежелание представителей компрадорской прослойки называть кошку кошкой — не дань пресловутой политкорректности, а то, что в рамках западной политологии принято называть «борьбой дискурсов» (термин Дж. Холла). Любой дискурс охраняет свои границы. Поэтому он устроен таким образом, что, приняв тот или иной дискурсивный формат, его носителю очень трудно выйти за установленные рамки. В случае такой попытки наступает когнитивный диссонанс, чего носитель дискурса инстинктивно старается избежать как болезненного, проблемного, «непродуктивного» состояния. Проще говоря, возникает мировоззренческий кризис.

Это одна из причин, по которой среднестатистический представитель либеральной части гуманитарной прослойки использует то, что философы называли «хитростью разума». Он придумывает десятки лазеек, позволяющих обойти очевидный разрыв между теорией и фактами. Например, известный в России художник и публицист Максим Кантор, ранее придерживавшийся левых взглядов, в оценке украинских событий вольно или невольно прибегает к правой политической оптике. В статье «Скифы в банке» он утверждает: «Те, кто порицал украинских бандеровцев и требовал введения войск для спасения русского населения, отнюдь не были интернационалистами»[[18]](#footnote-18).

Строго говоря, неясно, почему спасение русского населения должно исключать чувство национальной общности. Консолидация русской диаспоры на Украине происходит отнюдь не за счёт подавления или нарушения прав украинского большинства. Это не та ситуация, когда выбор «своего», национально близкого, осуществляется во вред «чужому». Да и гибнущим под бомбами горожанам не так уж важно, каковы мотивы их спасения, не говоря уже о том, что среди них есть и этнические украинцы.

Чтобы верить в целесообразность и оправданность таких действий, нужно обладать особым сознанием. Секулярным на уровне символов и содержания, но религиозным по своей мотивации. Разумеется, внешний религиозный компонент такого сознания не имеет ничего общего с христианством, он гораздо ближе к гностицизму.

Автор «Скифов в банке» не замечает откровенно неонацистских установок украинской власти и корит неравнодушных людей в России за недостаток интернационализма. Условный нарушитель паспортного режима виновнее серийного убийцы? Типичный пример, когда полнота дискурса важнее морали. В данном случае — полнота «левого» дискурса, если понимать его так, как понимает автор: «Те, кто считает себя “левыми”… исповедует имперскую доктрину... невозможно одновременно бороться против фашизма и за империю».

В самом ли деле всякой империи противопоказан антифашизм? А как быть, например, с Францией, считающейся одной из стран-победительниц фашизма? Антифашизм французского «Сопротивления» ничуть не помешал Франции оставаться колониальной державой вплоть до середины 1950-х, огнём и мечом удерживая многострадальный Индокитай. Неужели французский антифашизм по этой причине был некондиционным, не той «марки»? А СССР? По логике автора «Скифов», Советский Союз не имел права сопротивляться нацистской германской империи, поскольку… сам был империей. Странная логика.

Разгадка, оказывается, в том, что «фашизм — это и есть имперская национальная идея». Разве? А мы-то думали, что фашизм – это расовая теория или любая другая доктрина исключительности, а вовсе не национальные приоритеты в политике. Если бы известные истории империи совсем не имели таких приоритетов, они бы не просуществовали и года. Но национальные интересы и нацизм — мягко говоря, не одно и то же. Великая Отечественная была с обеих сторон имперской войной, но только с одной, немецкой стороны она была войной этнической. Сталин защищал свою империю, но советские люди при этом защищали свои семьи от массового уничтожения. Так уж совпало. А вот планов проводить геноцид «неполноценных арийцев» точно не было ни у советских солдат, ни у тирана Сталина.

Что касается истории с Новороссией, то здесь именно Украина демонстрирует наряду с нацизмом классические имперские комплексы. Вспомним, каковы истоки и логика конфликта. СССР, не имея национальных притязаний, в своё время «отпустил» советские республики, — дал независимость всем, включая Украину. Если угодно, унял свою имперскую гордыню. А вот Украина не отпускает этнических русских — кстати, не переселенцев, а коренных жителей Донбасса. Одни стремятся вернуть своих. Другие стремятся удержать чужих. Не русские не хотят русифицировать украинцев, а украинцы хотят украинизировать русских. Так у какой же из сторон имперская политика сочетается с радикальным национал-расизмом?

Вот пример: простые хлопцы из ВСУ пытаются объяснить, зачем они пришли на Восток убивать людей. «На Луганщине у нас случился настоящий переворот. Мы увидели, что девяносто девять и девять десятых местного населения за присоединение к России. И задали вопрос: а что или кого мы приехали сюда защищать? Нашли единственное объяснение: просто мы должны отстаивать целостность Украины… Все эти месяцы мы воспринимали их как своих соотечественников, хотя они отличаются от нас капитально. У нас каждый старается построить хороший дом, чтобы лучше, чем у соседа, а у них можно “Вия” без декораций снимать. Они там умирают, а их даже никто не хоронит… Батя сказал — едь, сына, поясни, як у нас на заходi живуть и як жить треба… Там общаться на украинском было для меня делом принципа. Мы принесли на восток росток запада». — «А на запад вы принесли росток востока?» — спрашивает корреспондент. — «Неа… Там люди живут бестолково и одним днем»[[19]](#footnote-19).

Думается, комментарии излишни.

На самом деле требование русских к государству Украина представляют собой классическую ситуацию библейского Исхода: «Отпусти мой народ». Но автор упомянутой статьи упорно не желает её замечать. Так «полнота теории», «непротиворечивость дискурса» оказываются важнее историзма и здравого смысла. К сожалению, подобная логика довольно типична и для западной официальной политики и для компрадорской субкультуры сегодняшней России.

Подобные аберрации политического сознания связаны с тем, что понятие «фашизм» в последнее время утратило семантическую чёткость. Произошло это отнюдь не случайно. К такому итогу привёл пересмотр всех содержательных основ политики ХХ века, начавшийся еще в 1950-е и продолжавшийся после исчезновения СССР с политической карты. Этот пересмотр происходит и сегодня. К сожалению, на официальном уровне этот процесс пока что склонны сужать до чисто военной проблематики и называть «пересмотром итогов войны». Это правда, но далеко не вся. Тем не менее российское общество постепенно начинает понимать, к каким последствиям может привести утрата нравственных ориентиров и чётких критериев в политике. Утрата морали всегда влечёт за собой приоритет «тайного знания», которое в современном контексте часто оборачивается привилегией выстраивать информационную картину мира на иррациональных (непроверяемых) основаниях. В такой среде рождается и существует политическая эсхатология.

Изучение «диффузных» процессов на границе секулярности и религиозности позволяет лучше понять природу многих политических процессов. В том числе изучить роль политической эсхатологии в общем контексте постсекулярной современности.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР**

Споры о «переписывании истории» и «единых учебниках» давно будоражат общественность и всё никак не могут смолкнуть. Поэтому говорить на эту тему всегда несколько неловко: ощущение такое, словно рассказываешь давно всем известную сплетню. Но и молчать на эту тему невозможно. Завеса ложной скандальности от таких умолчаний становится только гуще, скрывая за собой ряд простых и очевидных вещей.

Главный вопрос: что такое история для обывателя — пусть даже интеллигентного обывателя — как с ней обходиться, как себя с ней вести? Оговорюсь сразу: создать железные правила обращения с историей просто невозможно, поскольку из всех гуманитарных наук как раз история и ещё философия — самые «проблемные». Причём проблема лежит в самих основаниях этих дисциплин.

Начнём с того, что любая наука должна удовлетворять критериям системности, верифицируемости (то есть проверяемости знания), единства предмета изучения и желательно хоть в какой-то степени обладать прогностической функцией. С историей это далеко не всегда возможно. Если мы изучаем жизнь неандертальцев, то по крайней мере имеем в распоряжении артефакты (черепки, черепа, орудия труда) и более или менее точный радиоуглеродный метод. Но как только «ископаемый» период заканчивается и приоритет получают документы и огромный массив информации, задача усложняется. Ограничить предмет изучения, как в случае с неандертальцами, становится всё труднее.

Историю чего именно мы изучаем? Какое именно прошлое? Ведь не может быть «истории всего», даже в отдельные исторические периоды. Одно дело история династий, другое — народных движений и революций, третье — экономических формаций, четвертое — правовых систем. Это четыре совершенно разные «истории». Их нельзя объединить в единый свод. И если в физике есть «единая физическая картина мира», в химии — «единая химическая», то единой исторической картины нет и быть не может. Таким образом, говорить о единстве предмета исторической науки довольно сложно.

Возникнут проблемы и с верификацией — проверяемостью знаний. Дело в том, что до сих пор никому ещё не удавалось выделить в истории «всеобщие закономерности». Хотя марксизм потратил много сил, чтобы их отыскать, а либерализм старался и до сих пор старается просто-напросто навязать эти закономерности (в виде неких «цивилизационных» критериев). А ведь история ещё не закончилась и у нас уже поэтому нет достаточной информации для анализа.

О прогностических возможностях историков даже и говорить неловко: кое-что, правда, поддаётся прогнозу, но лишь в предельно общих масштабах и далеко не всегда.

И тем не менее история используется для того, чтобы объяснить человеку его место в этом мире. Это один из самых простых и испытанных способов и менять его на другой никто не собирается (хотя в деле просвещения масс наряду с историей используются и некоторые другие дисциплины и технологии — но это предмет отдельного разговора).

Именно поэтому история — одна из самых мифологизированных дисциплин. И бороться за полную демифологизацию истории, — как бы нам этого ни хотелось, — бесполезно. Это будет cизифов труд.

Ведь, как известно, летописи и исторические хроники переписывались заново при каждом князе — в угоду моменту. Увы, хотим мы этого или нет, но выражение «История — это политика, опрокинутая в прошлое» абсолютно справедливо. Подчеркнём особо: родилось это выражение не в России, так что какие-то там «национальные комплексы» и «пережитки» здесь ни при чём. Не случайно Отто фон Бисмарку приписывают фразу: «Битву при Садовой выиграл школьный учитель». Это о важности истории как школьного предмета и вообще воспитательных функциях школы. Об этом тоже не стоит забывать.

Сделать историю политически и идеологически стерильной невозможно, следовательно, не надо разбивать лоб о невыполнимую задачу. Итог будет много хуже того, что мог бы быть. А вот что действительно можно и нужно сделать, так это расставить приоритеты. То есть деконструировать прежде всего те исторические мифы, которые мешают национальной идентичности, вредят национальным задачам.

Первый и главный миф, от которого стоит бы избавиться: будто бы в «цивилизованном мире» озабочены построением этой самой «объективной истории», а мы хотим словчить и выбрать себе удобную. Это не так. Никто и нигде ничем подобным не озабочен. Скорее, речь идёт о придании видимости правдоподобия подходящим концепциям.

Например, понятие «нормализация истории» в Германии стараниями историка Эрнста Нольте используется давным-давно. Это делается для того, чтобы освободить национальное сознание немцев от травмирующего фактора Второй мировой войны — как от горечи поражения в ней, так и клейма нацизма. Причём с моральной точки зрения эти усилия, мягко говоря, небезупречны. Сам Эрнст Нольте в книге «Фашизм в его эпоху» утверждал, что «фашизм — это антимарксизм, который стремился уничтожить противника благодаря созданию радикально противостоящей и тем не менее соседствующей идеологии и применению идентичных, хотя и модифицированных методов»[[20]](#footnote-20). Хотя на самом-то деле нацизм уходит корнями в колониальную эпоху и гораздо древнее большевизма. Но Нольте и его последователи уверены в том, что гитлеризм — это «зеркальное отражение иудеобольшевизма и неизбежная реакция на него», а преступления советского режима они предлагают считать подлинной причиной «европейской гражданской войны», поскольку это, мол, некие «азиатские преступления». Ну и далее в том же духе.

Историк Наталья Нарочницкая совершенно справедливо замечает: «Э. Нольте интерпретировал Вторую мировую войну не как продолжение извечных стремлений к территориальному господству, а как начатую Октябрьской революцией “всеевропейскую гражданскую войну” между двумя “идеологиями раскола”. Европа же, по Нольте, впала в грех фашизма исключительно для защиты либеральной системы от коммунизма и лишь потом уподобилась своему сопернику… С легкой руки Э. Нольте коммунизм, всегда и везде считавшийся главной антитезой фашизму, стали называть его прототипом… Теперь главный критерий — отсутствие “американской демократии”»[[21]](#footnote-21).

Это типичный пример «нормализации истории» в исполнении респектабельных немецких учёных. Никакого стремления к объективизации и тотальной демифологизации в их усилиях, конечно, не прослеживается.

Сегодня в Германии неонацизм достаточно распространён — не в массах, а именно в профессорской среде. Причём этот перелом произошёл в конце 80-х – 90-е годы, когда «конкурирующая фирма» в лице советской историографии приказала долго жить, а позиции левых интеллектуалов ослабли.

Более простой пример: ребёнок наших знакомых, живущих в Германии, принёс из школы новость о том, что, оказывается, «Дрезден разбомбили русские». О какой объективной истории даже на школьном уровне можно после этого говорить?

Но самое главное во всём этом то, что над немецкими историками, пытающимися создать свой образ национальной истории, никто никогда не смеётся. Никто не называет это «шарлатанством» и изменой «чистой науке».

Понятие «переписывать историю» (use a revisionist narrative) в мире, правда, существует, но применяется только к оппонентам. По известному принципу «у нас разведчики, у них — шпионы». В общем, если мы хотим быть настоящими европейцами, давайте примем во внимание этот modus operandi. И осуществим несколько необходимых шагов.

1. Проведём ревизию национальной истории и посмотрим, в чём её позитивный смысл и поступательное движение; исходные условия, цели и задачи. Как в математике: «Дано — вопрос — решение — ответ».
2. Чтобы сформировать образ национальной истории (это необходимо, это дом, в котором всем нам жить не один век), надо устранить в коллективном сознании разрывы национальной традиции. То есть собрать то, что уцелело, несмотря на разрывы и примирить враждующие идеологические группы, разделённые негативом исторических конфликтов. Скажем, перед лицом реальных вызовов пора бы перестать выяснять отношения бывшим «белым» и бывшим «красным».
3. У национальной истории должен быть чётко определённый субъект. Этот субъект — **народ, нация**. Это приоритет.
4. Чтобы история народа-нации существовала «долго и счастливо», кроме устранения разрывов, неразрешимых вопросов и спорных моментов мы должны договориться о нашей **идентичности**. Поскольку история народа — это история людей, связанных общей идентичностью. С этого положения должен начинаться и этим заканчиваться **любой учебник истории**, в противном случае всё остальное бессмысленно.
5. Идентичность обычно определяется на основе «квадрата идентичности». Например: «русские = русское православие + русский язык + русская культура + общие исторические цели, знаковые события и фигуры». Разумеется, в многонациональной стране «национальное» не может быть сужено до этнического.
6. Важно определить роль нации в конфликтах. Например, настаивать на том, что в 1941 году СССР был жертвой, а германский альянс (не только Германия, между прочим, но и венгры-румыны-итальянцы-финны-норвежцы-японцы и др.) — агрессором. И, скажем так, у нас остались кое-какие претензии. Цифры ущерба хорошо бы обновить и опубликовать.
7. Мы не сможем привести в порядок свою историю, если не отречёмся от явно антинациональных действий части российских элит. Например, нам необходимо признать: Беловежский сговор 1991 года был национальным предательством и циничным попранием результатов референдума 1991 года — то есть по сути переворотом. Поэтому он юридически ничтожен.

Сегодня самые политизированные исторические темы — это тема Новороссии и отношения с Украиной, тема нацизма и неонацизма, роль церкви в истории страны, итоги и причины войны 1941—1945 годов, советский период, в котором не хотят толком разбираться ни противники, ни сторонники СССР, и, разумеется, период 90-х и «нулевых». Эти темы надо учесть в первую очередь в ходе анализа отечественной истории и при написании учебников.

Это актуальные политические соображения. Есть и важные общеидеологические нюансы. Россию недолюбливают западные политические элиты, потому что в России и отчасти в Восточной Европе не было периода Возрождения и Реформации. Это определило социокультурные различия. То есть средневековая культура не превратилась до конца в секулярный рационализм и институционализм. Элементы средневековой сакральности удалось даже внедрить в проект советского модерна. Эта наша особенность пугает европейцев как всякая альтернатива. Одно дело «чужие» монголы или китайцы, другое дело — вроде те же европейцы, но иные, альтернативные. Это очень некомфортное чувство — чувство расколотости своего коллективного «Я».

Да, феномен России болезненно сказывается на евроидентичности, давит на подсознание Запада. Особенно мучительно это ощущение сейчас, когда Европа уже готова расстаться со своей идентичностью (христианством) и уйти в неоязычество. А Россия остаётся христианской и служит западным европейцам напоминанием о самих себе — настоящих. К тому же при таком раскладе Россия — если выживет, конечно — может стать единственным наследником подлинного европеизма. Западным европейцам это неприятно и их вполне можно понять. Но это их проблемы, а не наши. Наше дело — исходить не из того, что мы «хотим в Европу» или «мы тоже Европа», а из того что «мы-то и есть Европа», хранители христианской евроидентичности.

При этом надо понимать: главная борьба за историю разворачивается всё-таки не в учебниках, а в реальном мире. Политической конкуренции, как и конкуренции экономической, никто не отменял. И, разумеется, не всех устраивает русский сценарий европейского развития. Развал, уничтожение России путём распространения соответствующих исторических мифов — естественное желание наших «естественных» конкурентов. К сожалению, такой исход выгоден не только внешним противникам, но и тем внутрироссийским «игрокам», кто хотел бы поживиться, распилив российское наследство точно так же, как распилили советское наследство в 1990-е. Возможен ли Беловежский путч-2? Тут всё просто. Если государство не платит интеллектуалам за национальные проекты, другие центры силы (внешние) будут платить за антинациональные. Это не теория заговора, а всё тот же принцип конкуренции. Конечно, одна из первых задач антироссийских сил — разрушить исторический консенсус и чувство русской идентичности. Без этого нация перестаёт быть нацией, а общество разваливается на глазах. Можем ли мы сопротивляться этой тенденции и каким образом? Да, разумеется. Мы должны договориться о базовых вопросах и национальных интересах, лишив привилегированного статуса либеральную пропаганду. Это очевидно: не расчистив «территорию истории» и пространство идеологии, на ней невозможно ничего вырастить.

Подводя итог, стоит вновь перейти к вопросу общего порядка: а какие вообще проблемы у современной исторической науки? Думается, проблема у истории сегодня одна-единственная — «двоемыслие». Необходимость скрывать свой пропагандистский характер. Если же сводить историю к источниковедению, то вообще нет никаких проблем.

Как сегодня должен работать историк? Он должен хорошо понимать, чему место только в архивах, а чему — ещё и в учебниках. Хотя бы потому, что в учебники в любом случае не попадёт всё сразу: формат школьного и вузовского пособия не резиновый. Значит, выбирать так или иначе придётся. Следовательно, необходимо дать картину, из которой будет следовать единство традиции, идентичности, национальных целей и задач. Следует забыть такие выражения, как «суд истории» и «коллективная вина». Это политическая риторика куда более низкого уровня, чем та, которая потребна историку. В истории есть ошибки и спорные решения, надо искать их причины и отвечать на вопросы «можно ли было их избежать» и «почему не удалось этого сделать». Никакие ошибки никогда не перевешивают национальные цели и национальные задачи.

Имеет ли право историк на свою интерпретацию событий? Ну, разумеется. Хотя бы потому, что точка зрения любого историка — это уже интерпретация. Ведь «объективной» истории не бывает. Так что это право одновременно и неизбежность. Но любой историк должен осознавать важность своей профессии, которая в этом смысле подобна профессии врача и учителя. Осознавать — и согласовывать свою деятельность с принципом общественного блага. И помнить главное: история, как и философия, должна не только объяснять, но и менять мир. Но поскольку истории вне идеологии быть не может, историку необходимо помочь — отменить нелепый конституционный запрет на «идеологию», а точнее, на национальные принципы и ценности. Причём как можно скорее. Если народ не сформулирует свою идеологию, он неизбежно примет чужую.

Крайне вреден для работы с национальной историей абсурдный тезис о «поисках национальной идеи». Национальная идея не одна, их много, это писаные и неписаные правила, по которым живёт общество. Но эти правила выводимы из более общих категорий. В нашем распоряжении должен быть чёткий и понятный образ традиции и идентичности (субъективное переживание принадлежности к традиции), дальше идут исторические цели и задачи. А национальные идеи выводимы из этих базовых понятий.

Вывод из всего вышесказанного следующий: национальная история — это **общественный договор**, но не по поводу настоящего, а по поводу и прошлого, и настоящего, и будущего.

**ТРИ ТОТАЛИТАРИЗМА: О СОСТОЯНИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА**

ХХ век обладает стойким послевкусием. Он давно закончился, а ощущение конца эпохи всё не проходит. Для Запада это что-то новое, а нам, родившимся в СССР, данный феномен хорошо знаком: это состояние застоя. Сегодня оно связано со сферой политических идей. Точнее, с набором ключевых политических понятий, которые задают смысловую атмосферу последних двух с половиной десятилетий.

**Метаморфозы политического языка**

После распада социалистического лагеря в политический обиход вводится обойма новых концептов, ранее не актуальных.

Один из них — «модернизация» — был адресован странам бывшего советского блока и приглашал их занять место в мировом разделении труда, являясь мягким и политкорректным синонимом колониальной зависимости.

Другой пример — выражение «конец истории». Оно обрело популярность благодаря философу, политологу и политическому экономисту Френсису Фукуяме и его книге «Конец истории и последний человек»[[22]](#footnote-22). Понятие «конец истории» также содержало в себе чёткий и недвусмысленный месседж, причём весьма радикальный по содержанию. Это было не просто подведение черты под «двуполярной» эпохой и так называемой модой на марксизм. Речь шла о том, что мировой политике вообще следует отказаться от историзма и очистить от исторических смыслов политический язык. Отказаться — в пользу чего? В пользу новой политической метафизики, в центре которой оказалось понятие общемирового либерального консенсуса.

Разумеется, идея была утопической. «Консенсус» не сложился. Часть мира, не входившая в среду обитания «золотого миллиарда», не приняла новые порядки — ужесточение экономической политики, курс на вестернизацию и прочее, — кое-где возникли попытки занять активную наступательную позицию (вспомним саддамовский Ирак). Тогда, с точки зрения сторонников консенсуса, пришёл черёд полицейских мер. Эти меры давно и подробно описаны политологами и военными аналитиками. Нас же волнует, прежде всего, та сторона международного полицейского режима, которая выразилась в глобальной смене политического курса.

Главное заключалось в том, что вместо идеи «конца истории» на первый план вышла концепция «конфликта цивилизаций». Этим понятием мы обязаны американскому социологу и политологу Сэмюэлю Хантингтону[[23]](#footnote-23).Такая замена (или подмена) терминов говорила о многом. Прежде всего, она, разумеется, указывала на готовность мировых элит к войне между Севером и Югом, но не только. Не менее существенно то, что тем самым провозглашалась кардинальная смена политического языка. Вместо языка политики и экономики в мировой обиход возвращался язык культурно-цивилизационных различий. В том, что это именно возврат к прошлому или, точнее, его ремейк, нет никаких сомнений. И неважно, кто провозгласил этот путь первым, профессор Хантингтон или иранские аятоллы. Кто агрессор, а кто жертва, можно понять исходя из разницы весовых категорий двух конфликтующих субъектов.

Идеологический сдвиг, скрытый за сменой понятий и терминов, до конца не проговаривался (в угоду политическим приличиям), но подразумевался. Тем самым был взят курс на отмену всего, что успело произойти в политическом словаре за последние сто лет.

Вернёмся немного назад. До ХХ века европейская имперско-колониальная идеология оформлялась в романтических терминах вроде «бремени белого человека», утверждениях о «необходимости цивилизовать дикарей». Этот лексикон устарел тогда, когда набрал силу марксизм, под влиянием которого такие явления, как мировое неравенство и зависимость одних стран от других были переведены на язык политэкономических категорий. Поэтому во времена СССР речь шла о противостоянии двух социально-политических «систем», но не «двух культур» или «двух цивилизаций». Само существование альтернативы, пусть даже советской, с её очевидными изъянами, вынуждало выбирать выражения.

После распада советского блока либеральный мейнстрим вновь возвращается к доктрине открытого, а не экономически замаскированного колониализма. И вот на повестке дня — новый «конфликт цивилизаций». Что это такое? Знак того, что приличия отброшены. Либеральная теория сделала семимильный шаг назад и остановилась где-то посреди эпохи Британской Ост-Индской компании. Ведь от концепции культурной полярности (вариант прежнего «Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись») полшага до идеи культурной исключительности, а затем и биологического превосходства.

В связи с этим можно смело говорить о регрессе и архаизации всей либеральной семантики: сублимация политических идей уходит в прошлое. Социальное неравенство вновь оправдывается культур-расистскими доктринами. При этом замена понятия «культурная неполноценность» на «несоответствие демократическим стандартам» вряд ли может кого-то обмануть: эвфемизмы — продукт языка, а не политической реальности.

**Морально-политическая максима**

Парадигма новой политики, вступившая в силу после 1989 года, несмотря на крайнюю степень изношенности, всё ещё занимает господствующие высоты в мире. Она морально деградирует и структурно упрощается. Но даже самая пещерная идеология нуждается в моральных ориентирах. Концепция добра и зла присутствует во всякой политической доктрине, и та, о которой мы говорим, тоже имеет чёткую систему этики. Система эта, впрочем, довольно старая. Она основана на концепции «двух тоталитаризмов» (шире — «закрытых обществ»), появившейся в работах философа и социолога Карла Поппера («Открытое общество и его враги»), философа Ханны Арендт («Истоки тоталитаризма»), политолога Збигнева Бжезинского и некоторых других авторов. Концепция родилась с началом холодной войны, но оказалась намного долговечнее политических блоков. Смысл её прост: коммунистические и фашистские режимы являются политически родственными и противостоят либеральным демократиям.

В системе нового мышления, о которой так много говорили в эру Горбачёва и Рейгана по обе стороны ветшающего железного занавеса, максима тоталитаризма занимала почётное место. Именно теория двух тоталитаризмов (или «двойного» тоталитаризма) служила тем мостиком, который был переброшен из политического вчера в политическое сегодня. Нынешняя политика силы как бы искупалась вчерашними жертвами. Тоталитаризм служил индульгенцией, выданной историей сторонникам нового глобального миропорядка.

Разумеется, с логической точки зрения эта позиция не выдерживает никакой критики, но психологически она очень действенна. Механизм воздействия на общественное сознание довольно прост: это постоянное напоминание об исторической травме. То есть апелляция не к рациональной, а к эмоциональной сфере. Без картины темного тоталитарного прошлого не вырисовывается картина светлого либерального будущего (ввиду слишком большого количества издержек в виде «межцивилизационных» войн, смены режимов и проч.). Поэтому так необходим образ исторического врага.

**Неудовлетворенность теорией**

Со времён Карла Поппера и Ханны Арендт общий концептуальный каркас теории не изменился: речь по-прежнему идёт о «плохих» тоталитаризмах, которые противостоят «хорошему» либерализму. Но со временем эта манихейская модель стала всё чаще попадать под огонь критики на Западе, а не только в СССР. Что неудивительно: ведь теория с самого своего рождения напоминала катехизис. Её можно было или целиком принять или целиком отвергнуть. Причём, как и в вульгарной версии коммунизма, в «двухтоталитарной» концепции была очень заметна эмоциональная составляющая (инфернальная символика, мотив абсолютного зла, категорическое «никогда больше»). А это тревожный симптом.

Неудивительно, что уже в 1960-е появились политические концепции, которые шли вразрез с «двухтоталитарной» ортодоксией. Здесь в первую очередь надо сказать о представителях неомарксистской Франкфуртской школы. Старшие представители школы, Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер, рассматривали, в частности, фашизм как побочный результат двух глубинных исторических процессов. С одной стороны, доминирования стандартов рациональности, навязанных Европе эпохой Просвещения, с другой — аффективной реакции иррациональных социокультурных сил на навязывание этих стандартов[[24]](#footnote-24).

Исследователи 60-х описывали репрессивные механизмы всех трёх идеологических модусов западного общества — нацистского, коммунистического и неолиберального — как взаимосвязанные.

Представитель второго поколения франкфуртцев Герберт Маркузе, культовая фигура бунтующей молодежи 60-х, гуру радикального студенчества пришёл к выводу, что репрессивный аппарат либерального общества эпохи постмодерна формирует фашизоидный тип сознания — «одномерного человека». И делает это не менее успешно, чем его «тоталитарные» конкуренты[[25]](#footnote-25). Это вывод тем более важный, что у нацизма и либерализма, как известно, одна и та же социальная база — средний класс. Примером государства «скрытого фашизма» для Маркузе и его единомышленников служили, в частности, Соединённые Штаты с массой обывателей-реднеков.

С этой точки зрения идеологическая карта двадцатого столетия, расчерченная по принципу «две плохие теории — одна хорошая» уже выглядела сомнительно. При этом важно принять во внимание, что франкфуртцы вовсе не ставили под вопрос саму категорию тоталитарности («фашизоидности») и даже не пытались сузить её, как иные консервативные критики «справа». Напротив, они шли по пути расширения понятия, раздвигая его рамки и содержание. В таком ракурсе любой репрессивный механизм выглядел симптомом латентного фашизма.

Многие оппоненты теории, как уже было сказано, указывали на разные социальные предпосылки двух режимов. Коммунизм апеллирует к низам, фашизм и нацизм — к среднему классу и крупной буржуазии. Кажется, это было у Антонио Грамши: «Опора фашизма — взбесившийся средний класс»…

Но для системной критики «двойной» теории тоталитаризма этого было недостаточно. Чтобы критика теории переросла в стратегию и набрала достаточную объяснительную силу, был нужен системный взгляд на политическую историю. Прежде всего, надо было разобраться с тем, почему политический мейнстрим ХХ столетия — либерализм — упорно выводится за пределы проблемного поля.

**Либерал-социализм**

Попытки выйти за привычные рамки исследований тоталитаризмастали особенно заметны к 1990-м годам. Пожалуй, наиболее интересной можно считать позицию Иммануила Валлерстайна, изложенную им в работе «После либерализма»[[26]](#footnote-26).Вышла эта книга в Нью-Йорке в 1995 году.

В центре внимания Валлерстайна стояла более масштабная проблема, нежели вопрос о критериях тоталитаризма, — история и смерть либерализма как двухсотлетнего политического проекта. Но с темой тоталитарности это, разумеется, связано напрямую.

Отличительной чертой валлерстайновской позиции можно считать восприятие фашизма и коммунизма не как двух идеологий, противостоящих либеральной демократии, а как составных частей большого либерального проекта, который берёт начало в 1789 году. Эта смена ракурса принципиально важна. Именно она задавала новую перспективу рассмотрения старой «околототалитарной» проблематики. Когда впервые открываешь Валлерстайна, не веришь своим глазам. Он даёт картину событий ХХ века, абсолютно не похожую на ту, что мы привыкли видеть в советских и постсоветских учебниках, а также в западной прессе.

Цель, заявленная автором, проста. Он стремится описать уже начинавшийся, по его мнению, «процесс разжалования либерализма с его поста геокультурной нормы»[[27]](#footnote-27). А это требует проследить тесную связь либерализма с консервативной и социалистической идеями до фашизма и коммунизма включительно. Валлерстайн определяет «современность» как эпоху либерального доминирования, которая укладывается в два столетия — между Французской революцией и крушением СССР. И берётся утверждать, что противостояние трёх политических концепций с самого начало было иллюзорным, схоластическим и подчинялось потребностям европейской и мировой Realpolitik.

Социализм в России, согласно Валлерстайну, не был самостоятельным политическим проектом. И хотя октябрь 1917-го кардинально перепахал социально-политический ландшафт, уже в 1920-е годы советский режим негласно вошёл в консенсус мировых элит. Разговоры о мировой революции в этот период выродились в чистую риторику, выгодную всем участникам консенсуса. Именно в силу этой негласной конвенции холодная война так и не перешла в горячую фазу.

Исходя из этих позиций можно утверждать: смысл Второй мировой войны состоит в том, что наиболее реакционная часть либерального истеблишмента (а не социалистический Советский Союз) вышла за рамки консенсуса и нанесла удар по одному из его участников. Но с победой Советов консенсус был восстановлен, причём на более выгодных для СССР условиях, хотя и ценой огромных жертв.

В чём же в таком случае системная ошибка западной советологии? В чудовищной переоценке советского проекта.

По мнению Валлерстайна, русский социализм, в отличие от классического марксизма, под видом классового противостояния разрабатывал иную идею — идею национального освобождения, а точнее, демонтажа старой колониальной системы в мировом масштабе. Но первопроходцами Ленин и Троцкий здесь не были. Проект изначально возник в рамках миротворческой политики президента США Вудро Вильсона и его последователей, лишь позднее получив второе, социалистическое издание.

Речь в обоих случаях шла о сломе старого мирового порядка. И здесь США и СССР, несмотря на идеологическое противостояние, на самом деле служившее вершиной политического айсберга, решали одну и ту же задачу. При этом «ленинизм представлял собой более энергичную и воинственную форму антиколониальной борьбы, чем вильсонианство. И, конечно, СССР оказывал материальную и политическую поддержку многим антиимпериалистическим движениям»[[28]](#footnote-28).

Так называемое соперничество двух систем было выгодно всем участникам. Почему?

Желание покончить с европейской формой колониализма ради новой — экономической, глобальной, планетарной — вот одна из причин альянса двух идеологий, либеральной и социалистической. Но не единственная. Чтобы планетарная доктрина считалась легитимной, она обязательно должна была иметь глобального оппонента. А чтобы сохранять свой статус, ей было необходимо обеспечить игру по правилам с этим оппонентом. Таким образом, согласно Валлерстайну, советский социализм сыграл роль карманной альтернативы и удобного спарринг-партнера для мирового либерализма. Вывод на первый взгляд несколько неожиданный.

Характеризуя период 1945-1990 годов, Валлерстайн вообще не использует понятие «двуполярный мир». Он уверен: «СССР можно рассматривать в качестве субимпериалистической державы по отношению к Соединённым Штатам постольку, поскольку он поддерживал порядок и стабильность в своей зоне влияния, что на самом деле увеличивало способность Соединённых Штатов к поддержанию собственного мирового господства. Сама напряжённость той идеологической борьбы, которая в конечном итоге не имела большого значения, играла на руку Соединённым Штатам и была для них серьёзным политическим подспорьем (как, несомненно, и для руководства СССР). Кроме того, СССР служил Соединённым Штатам своего рода идеологическим прикрытием в странах третьего мира»[[29]](#footnote-29).

Косвенно этот тезис подтверждается историей нефтедобывающих стран (ОПЕК). Когда они попытались создать картель и шантажировать Запад, именно СССР пришёл на помощь «миру капитала» и открыл для него вентиль на полную, не слишком задирая цену. Показательно и индифферентное отношение США и их союзников к силовому подавлению восстаний в восточном блоке (1953, 1968, 1980-1981).

Постепенно этот либерально-социалистический консенсус становился всё более очевидным. Только СССР оставался заповедником девственно чистых идей, которые господствовали и в лагере «лоялистов», и в лагере «диссидентов». Получается, что советские ортодоксы по существу разделяли антитоталитарную теорию своих оппонентов, только наделяли её противоположным смыслом, меняя знаки — плюс на минус («коммунизм — хорошо, капитализм — плохо»).

Но западные интеллектуалы давно осознали реальную конфигурацию сил. Именно поэтому «революционеры 1968 года выдвинули протест против этого консенсуса, и прежде всего против исторической трансформации социализма, даже ленинистского социализма, в либерал-социализм», — пишет Валлерстайн. В конечном счёте «революция 1968 года подорвала фундамент всего идеологического консенсуса, возведённого Соединёнными Штатами, включая его козырного туза — прикрытие советским щитом».

А уже «в 1989 году те, кто был разочарован либеральным консенсусом, повернулся против наиболее ярких выразителей либерал-социалистической идеологии, режимов советского типа, во имя свободного рынка».

Консенсус исчерпал себя. Советский щит либерального проекта, cтав прозрачным, исчез за ненадобностью.

**Что же произошло в 1989 году?**

Валлерстайн уверен: «О том, что произошло в 1989 году, много писали как о завершении периода 1945-1989 годов, считая его датой поражения СССР в холодной войне. Эту дату полезнее было бы рассматривать как конец периода 1789-1989 годов, иначе говоря, времени победы и поражения, взлёта и постепенного упадка либерализма как глобальной идеологии — я называю её геокультурой — современной миросистемы»[[30]](#footnote-30).

О причинах краха двуполярного мира можно говорить долго. Но для нас важен итог этого процесса. И автор «После либерализма» определяет этот итог предельно точно. По его мнению, «вильсонианцы» лишились идеологии, которая играла роль прикрытия и канализировала протестный потенциал третьего мира в безопасное русло. Исчез клапан для выпускания пара. «Подлинный смысл краха коммунистических режимов — в окончательном крахе либерализма как идеологии-гегемона. Без некоторой веры в её обещания у капиталистической миросистемы не может быть устойчивой легитимности»[[31]](#footnote-31).

Из сказанного следует важный вывод. Так называемый крах коммунистических режимов имел не внутренние, а внешние причины, которые заключались не в устройстве самих режимов, а в логике развития всей либеральной миросистемы, частью которой эти режимы являлись, существуя на правах мнимой и потому безопасной «альтернативы». Поэтому было бы правильнее определить конец советской системы не как крах, а как демонтаж.

Как ни парадоксально, «последними, кто серьёзно верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого образца в бывшем коммунистическом блоке. Без продолжения их участия в обсуждении этих обещаний господствующие слои во всём мире потеряли любые возможности контроля над мировыми трудящимися классами иначе, чем силовыми методами... Но одна только сила, как мы знаем со времён по крайней мере Макиавелли, не может обеспечить политическим структурам очень длительного выживания», — уверен Иммануил Валлерстайн.

Легко вывести из этого тезиса главную мысль: либеральный мир, не имея альтернативы, не имеет и легитимности. Теряя идеологическую привлекательность и накапливая экономические проблемы, он вынужден прибегать к военной силе, поскольку других способов контроля над ситуацией уже не осталось. Это мы понимаем, следя по новостным лентам за тем, как идёт гражданская война между богатым Севером и бедным Югом, за событиями вокруг Сирии или Украины.

Каково же будущее либеральной миросистемы после падения коммунистического щита? Она обречена терять остатки легитимности, упрощаться, ужесточаться и архаизироваться. Или, другими словами, проваливаться в собственное колониалистское прошлое.

В этом смысле очень интересен феномен *неолиберализма*, по сути смыкающийся с неоконсервативным трендом. Если прежде в либеральной среде было принято рассуждать об обществе равных возможностей, то неолибералы (преемники либералов) считают, что «равные возможности» — это угроза для обладателей экономических привилегий. Но отход от идеи «равных возможностей» — очевидный шаг в сторону сословного государства. То есть того самого явления, с которым призывали покончить европейские буржуазные революции XVIII века, в лоне которых окреп и вырос либеральный проект.

Таким образом, либерализм пришел к отрицанию собственных «священных» ценностей. Сегодняшний либеральный мир в ценностном смысле опустился ниже планки 1789 года. Что позволяет охарактеризовать его экономическую модель уже не как поздний капитализм, но как денежный феодализм, и всё это, безусловно, свидетельствует о глубочайшем кризисе либеральной теории.

Впрочем, удивляться тут нечему, учитывая, что либерализм сегодня считается тоталитарной системой почти официально. Раньше он прибегал к мимикрии, перекладывая полицейские (тоталитарные) функции на дочерние режимы и направлял недовольство в безопасное русло. С этой целью, в частности, теория тоталитаризма и использовалась либеральными элитами. А сегодня? Штабная экономика, культур-расистский дискурс в политике, военные удары... Все эти издержки и диспропорции уже невозможно оправдать наличием геополитических соперников.

Либеральный проект, оставшись без добавочного политического модуля, становится всё агрессивнее. И этот тоталитарный либерализм ждёт неминуемая утрата легитимности в глазах не только угнетаемых наций, но и западного общества (хотя отсутствие альтернативных проектов может растянуть этот процесс на десятилетия). Но по-другому удерживать status quo уже не получается.

Данная ситуация свидетельствует о конце 225-летнего исторического проекта.

**Либерал-фашизм как историческая тавтология**

Мнение о том, что либерализм есть нечто большее, чем идеология, высказывалось уже в ХХ веке. В частности, философ, историк и критик Бенедетто Кроче писал: «Либеральная концепция является метаполитической, она выходит за рамки формальной теории политики и в определённом смысле также формальной теории этики и совпадает с всеобщей концепцией мира и реальности»[[32]](#footnote-32).

Сегодня этот факт ещё более очевиден. Либерализм — давно уже не идеология. Он сделался универсальным политическим и экономическим сценарием «без вариантов», умножающим по всему миру число жертв своей политики.

Для нынешнего состояния либерализма неплохо подходит формула Джорджа Буша — «Л-мир», то есть «либеральный мир». Буш использовал это понятие как образ «мягкотелого» общества, которое должны, с его точки зрения, взнуздать неоконсерваторы. Но мы склонны рассматривать американский неоконсерватизм как составную часть Л-мира.

Мнение о том, что тотальность современного либерализма в последние годы многократно возросла, высказывали многие. Например, в этом абсолютно уверен очень популярный на Западе автор-антиглобалист Самир Амин[[33]](#footnote-33). Правда, в отличие от Валлерстайна, он придавал своей концепции американоцентричное звучание, но на содержании выводов это не отразилось.

Амин считает либеральную идеологию вирусом, который возник как побочный эффект экспансии капитала и ведёт к «перманентной войне». Он также подчёркивает религиозно-мессианскую составляющую в американской версии либерализма, утверждая, что политики США видят американцев в роли «избранного народа», что, по мнению Амина, «синонимично Herrenvolk (расе господ), если обратиться к аналогичной терминологии нацистов».

Теперь перенесёмся в Европу и откроем книгу Пьера-Андре Тагиеффа«Цвет и кровь. Французские теории расизма»[[34]](#footnote-34).Это своего рода каталог разновидностей расистской идеологии на примере Франции. Мы обнаружим в ней перечень концепций «расистского мироустройства» во Франции ХIХ-ХХ веков, в том числе «этнорасовый национализм», евгенический расизм «социалистической» направленности, а ещё — «эволюционный расизм и социал-дарвинизм».

Последняя разновидность расизма, как легко убедиться, один в один совпадает с современной неолиберальной доктриной.

Исследование Пьера-Андре Тагиеффа, среди прочего, ценно тем, что оно не даёт повода замкнуть понятие «расизм ХХ века» в национальных границах, то есть представить его как в первую очередь германское или «пангерманское» явление. Кстати, такая точка зрения сама по себе носила бы расистский характер. В сущности расистское звучание имела и классическая концепция Ханны Арендт, которая в своих «Истоках тоталитаризма» выдвигала «панславистскую» теорию коммунизма.

Ещё более интересным источником, помогающим в анализе общеевропейских корней тоталитарности, может служить книга Мануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ»[[35]](#footnote-35). Несмотря на название этого издания, материалы, собранные автором, в целом позволяют говорить о фашизме как о синтетическом явлении европейской рациональной культуры. Тем не менее британские примеры преобладают.

Интересны наблюдения за взглядами британской элиты в период между мировыми войнами. «Даже после окончания Первой мировой войны Британия всё ещё могла позволить себе смотреть на мир через призму своего особого имперского статуса... расового превосходства и высокого национального самомнения... Давая чёткие определения характерных признаков британской “расы”, создатели книг для юношества решительно отграничивали англичан от представителей других рас», — вспоминал в ХХ веке Джон Ю. Норвич[[36]](#footnote-36). Так что у автора хорошо известной утопии Джорджа Оруэлла были все основания заявить однажды: «Вероятно, Англия — единственная в мире великая страна, в которой интеллектуалы стыдятся собственной национальной принадлежности... В левых... кругах полагают, что в принадлежности к английской нации есть нечто постыдное...»[[37]](#footnote-37).

Вообще книга Саркисянца помимо богатства материала отличается точностью выводов. Заслуга автора в том, что он отыскал в либеральной теории именно тот смысловой слой, который является переходным от этнического к социальному расизму. Так, ещё в 1850 году, пишет Саркисянц, «эдинбургский профессор анатомии Роберт Нокс... стал приписывать ирландцам целый ряд качеств, несовместимых с чертами среднего класса» — то есть определил ирландцев (шире — кельтов) как экономически несостоятельную расу. По мнению Нокса, «источник всех бед Ирландии кроется в расе, кельтской расе Ирландии... Следует силой изгнать эту расу с земель... они должны уйти. Этого требует безопасность Англии»[[38]](#footnote-38).

Таких примеров у Саркисянца очень много, и не только у него. И это вполне естественно. Потому что непредвзятый анализ морально-этических оснований либерализма и фашизма обнаруживает их полную идентичность.

Первое. Классическую либеральную теорию и её неклассический, фашистский вариант объединяет общий моральный императив. А именно — тотальная конкуренция, то есть принцип естественного отбора, перенесённный из животного мира в человеческое общество. В эпоху социализма эту доктрину принято было называть «социал-дарвинистской». Весьма точное определение.

Второе. Общий признак, объединяющий классический колониальный либерализм с фашизмом гитлеровского образца, — это модель расколотого, разделённого мира. Один из современных левых авторов Михаил Магид, перефразируя положения знаменитого представителя левого движения ХХ века, профессора Падуанского университета Антонио Негри, пишет об этом так: «Колониальная идентичность действовала посредством логики исключения... Белое, цивилизованное, организованное, продуктивное, разумное здесь противопоставлялось цветному, природному, хаотичному, неэффективному, чувственному, дикому. Как отмечал алжирский исследователь колониализма Франц Фанон, “колониальный мир — это мир, расколотый надвое”. Колонизированные исключены из европейского пространства не только территориально, не только на уровне прав и свобод, но и на основе мышления, ценностей, жизненных целей. Они представлены в мышлении колонизатора в образе “других”, отброшены за границы цивилизации. Конструирование идентичности строится по принципу “мы — они” и основано на существовании жёсткой границы»[[39]](#footnote-39). Точнее не скажешь.

**Христианство и тоталитаризм**

Возникает естественный вопрос: в какой идеологической системе отсутствует логика исключения, принцип «мы — они»? Ответ очень простой. Такая система есть, ей две тысячи лет. Это апостольское христианство. Определение «апостольское» отнюдь не лишнее: в течение веков христианское учение испытывало самые разные деформации, выражавшиеся то в крестовых походах, то в выморочных положениях протестантской этики.

Мальтузианский принцип тотальной конкуренции противоположен христианской морали. Именно поэтому по мере ужесточения либеральной политики (вне всякого сомнения наследующей мальтузианству) всё более активной становится борьба с религией, которую ведут идеологи глобального секулярного мира. Запреты на публичное ношение крестов, осквернение и разрушение храмов, спиливание крестов, пляски на амвоне и разжигание ненависти к религии — всё это приветствуется «хозяевами дискурса».

Диаметрально противоположные ценности — это одна причина конфликта. Но есть и другая. Христианство стоит на страже традиционных общественных институтов, а они являются нежелательной помехой для колониального мышления. В «глобализированном мире» не должно остаться ничего традиционного — таков принцип современного либерализма. Традиция мешает управлению, свободному манипулированию информацией и потоками капитала. Поэтому либеральными элитами взят курс на воинствующий антитрадиционализм, который грозит превзойти «достижения» госатеизма советского образца.

Но почему так исторически сложилось, откуда это кардинальное расхождение? И нет ли в либеральной доктрине скрытой религиозной составляющей? На этом следует остановиться подробнее.

Исторически зрелый тоталитаризм — это последнее звено в цепочке, которая берёт начало с отказа от традиционного христианства. То есть с европейской Реформации.

Полностью сбрасывать со счетов богословский аспект проблемы было бы неверно. Оговоримся: речь сегодня идёт не о протестантских церквях, а о «протестантской этике», которая давно является скорее политическим, нежели религиозным феноменом.

Тем не менее отметим, что именно в рамках европейской Реформации возник особый тип европейского миросозерцания, который основан на идее «избранности» одних людей по сравнению с другими. В XVI веке эту идею было принято понимать чисто теологически, как «избранность ко спасению».

В соответствии с ортодоксальным христианством спасение, как известно, есть категория неземной жизни. Однако мерилом «избранности» в рамках протестантской (особенно кальвинистской) этики всё чаще становился материальный «успех» в земном мире. Эта концепция и стала отправной точкой для либерального проекта.

Позднее на этот морально-этический фундамент наслоилась философия Просвещения. Причём в бытовом, нефилософском понимании идея «просвещения» дикарей становилась своеобразной индульгенцией для политики колониальных захватов и шла рука об руку с военно-техническим прогрессом.

Но какие именно ценности цивилизованный мир так стремился «преподать» дикарям в обмен на живой товар, драгоценности, колониальную экзотику и дешёвый труд?

Ценности европейской цивилизации в колониальную эпоху включали в себя либеральные идеи «естественных прав», парламентаризма и «свободной торговли». Причём термин «свобода торговли» понимался порой так широко, что включал в себя сбыт живого товара, «принуждение к рынку», угнетение и унижение туземного населения и т.п.

Таким образом, «естественные права» одних утверждались отнятием прав у других. Свобода европейцев оплачивалась угнетением мировых окраин. Технический арсенал для захватов обеспечивался успехами европейской науки, а жажда прибыли и материального успеха — доктриной «протестантской этики».

В этом русле и шло развитие либерализма вплоть до эпохи «золотого миллиарда». Советский проект породил иллюзию выхода из этого круга и до поры до времени спасал либеральный мир от восстания окраин. Он давал угнетённым призрачную надежду и мнимую возможность выбора. А заодно служил своеобразным громоотводом: либералы всегда были готовы заявить, что ГУЛАГ — это следствие коммунистических идей, а Бухенвальд и Освенцим в лоне либерального общества возникли совершенно случайно.

Вопрос о кровных узах либерализма и фашизма уже был рассмотрен выше. Добавим лишь, что стремление отмежевать «доброкачественный» либерализм от его злокачественных последствий наталкивается не только на исторические, но и на морально-этические контраргументы. Ведь у любого критически мыслящего человека «возникает вопрос: почему “свободная конкуренция” (то есть борьба за выживание) допустима внутри либерального консенсуса, но такая же свободная конкуренция между нациями, классами или социальными системами дурна и непозволительна? В чём принципиальная разница?»[[40]](#footnote-40)

По тому же поводу уже упоминавшийся Макс Хоркхаймер, один из основателей Франкфуртской школы, однажды очень точно сказал: «Тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения».

Сегодня подлинный генезис тоталитаризма перестаёт быть тайной за семью печатями. Вопреки мнению Карла Поппера, писавшего о «закрытости традиционных обществ», и Ханны Арендт с её тезисом о панславистских корнях большевизма, тоталитаризм — продукт западной культуры Нового времени. Это совершенно очевидно.

**Либеральные табу**

Теперь мы можем вернуться к главному вопросу: что произошло с представлениями о тоталитаризме в ХХ веке и почему столь неубедительная теория появилась на свет и стала одним из устойчивых стереотипов массового сознания?

Чтобы замаскировать неудачную родословную тоталитаризма, его защитники всегда были готовы сохранить в списке критериев тоталитарного общества «сильную власть», но затушевать рационализм и дух модернити. Кроме того, они то и дело норовили подменить корпоративный коллективизм фашистского строя общинностью и соборностью русского, православного или — шире — любого традиционного общества. После серии таких подмен теория «двойного тоталитаризма» сделалась удобным политическим орудием, заточенным против любой традиции, в том числе и против европейского христианства, которое, как мы сегодня видим, стало жертвой глобального секулярного проекта.

Скрывать пришлось не только истоки тоталитаризма, но и подлинные причины его расцвета в ХХ веке. Собственно говоря, феномен германского нацизма адепты теории бинарного тоталитаризма предпочли не исследовать, а, скорее, заклясть, навесив табличку «фашизм». По сути это был негласный интеллектуальный карантин.

Врага желательно знать в лицо. Но европейская рефлексия тоталитаризма пошла кружным путём, далеко уводящим от существа вопроса. Моральное отрицание нацизма и фашизма стало обязательным (что само по себе правильно), а вот их серьёзное научное исследование попало в разряд общественных табу.

По-видимому, это закономерно. Ведь даже при беглом взгляде смысл явления слишком очевиден. Кроме параноидального антисемитизма Гитлер не привнёс в политическую практику западного общества ничего нового. Он лишь поменял контекст — с туземного на внутриевропейский.

Например, касаясь в своих выступлениях «восточного вопроса», Гитлер говорит о том, что восточные территории должны стать для Германии тем же, чем стала Индия для британцев. Аналогичная ситуация сложилась с концлагерями. Впервые их придумали и воплотили англичане в ходе англо-бурской войны. Но если, будучи применена в Южной Африке, эта практика не вызывала особого беспокойства у европейской общественности, то те же методы, применяемые в центре Европы и к европейцам, вызвали настоящий шок. Что допустимо на задворках «свободного мира», то немыслимо в самом «свободном мире».

Один из странных парадоксов этой ситуации заключается в том, что либеральное отторжение гитлеровских колониальных методов в Европе само по себе носило колониалистский характер, поскольку те же самые методы считались чем-то вполне допустимым вне европейской ойкумены. Тот очевидный факт, что режим 1930-х годов в Германии — законный ребёнок европейского либерального империализма, слишком серьёзно ранил европейское самосознание и был отвергнут. Аналогичная история постигла и коммунизм. Оба явления были насильно отселены в теоретическое гетто, отсюда и нежелание лишний раз поднимать проблему.

Сегодня теория «двойного тоталитаризма» не только находится под огнём критики (о чём почему-то стесняются говорить в России), но и испытывает определённые внутренние пертурбации. Поскольку эта теория имеет не научную, а чисто политическую природу, то, как только она попадает в поле открытой публицистики, вокруг неё закипают страсти. Скажем, понятие «нормализация германской истории» всё чаще звучит в ходе дискуссий и уже не считается неприличным, хотя явно несёт в себе неофашистские коннотации[[41]](#footnote-41).

Интересные наблюдения за эволюцией доктрины тоталитаризма можно найти у многих авторов левого направления. Очень показательна статья Александра Тарасова «Ошибка Штирлица. Для чего им “теория тоталитаризма”?». Речь там идёт о дискуссии, получившей отражение в сборнике «Прошлое: российский и немецкий подходы»[[42]](#footnote-42).

А вот мнение Томаса Зайберта, немецкого активиста движения против капиталистической глобализации: «В 1989 году после распада СССР... в Германии начался сильный рост фашистских тенденций. И однажды, когда я сидел дома и читал книжку, я сказал себе: “Ты не можешь просто читать книги в такое время, ты должен опять вернуться на улицы и дать достойный ответ фашистам”»[[43]](#footnote-43).

Как и почему возникает ретроспективная фашизация либерального сознания, уже было сказано. Но важно ещё раз подчеркнуть психологическую мотивацию этого процесса. Испытывая кризис содержания, либерализм формирует негативный тип идентичности. Отделяя от себя свои бывшие составные части, он создаёт убедительный образ врага как во времени (бывший СССР, Германия до 1945 года), так и в пространстве, в лице зависимой части мира («Юг», «другая цивилизация»).

Практика либеральной геополитики также предельно проста. Чужая традиция объявляется не соответствующей «стандартам демократии», то есть социально неполноценной, а потому якобы обречённой на зависимость и бедность. В действительности всё наоборот: бедность есть причина неразвитости социальных и демократических институтов.

**Закат теории**

Сегодня морально устаревшая теория тоталитаризма удовлетворяет далеко не всех. Либерализм теряет способность объяснять себя.

Возникает вопрос: была ли либеральная система в ХХ веке с самого начала тоталитарной? Безусловно, была. И потому, что создала инфраструктуру мирового господства, включив в неё советскую «альтернативу» на правах подсистемы. И потому что германская контрсистема, просуществовавшая 12 лет, имела стопроцентно либеральные корни.

Как известно, Иосиф Сталин, комментируя итоги войны, не произнёс слова «фашизм». Он говорил о германском империализме. Третий рейх был бесчеловечнее, а следовательно, либеральнее своих оппонентов. Но этот либеральный контрпроект провалился: новому дивному миру суждено было стать «империей Уолл-Стрит».

СССР стал хотя и удалённой, но полноценной частью американского проекта. Советские вожди не были свободны в своих решениях и подчинялись «правилам игры», тогда как Третий рейх попытался осуществить слом системы, овладев европейским хартлендом. Поэтому называть советскую систему отдельным, самостоятельным тоталитаризмом совершенно некорректно.

Таким образом, в ХХ веке мы имели три взаимосвязанные идеологии. Это идеология-гегемон (либерализм), её радикальное ответвление (нацизм) и идеология прикрытия, спутник идеологии-гегемона (советский социализм).

Теорию «двойного тоталитаризма» пора признать несостоятельной. В действительности есть только один тоталитарный режим — либеральный. Фашизм и коммунизм являются не его конкурентами, а его составными частями. Первый представляет собой ядро, а второй — периферию. Поэтому выстраивать систему «два тоталитаризма — одна демократия» просто не имеет смысла. Можно говорить о трёх тоталитаризмах, но в этом случае слово «тоталитаризм» кардинально меняет смысл. Оно обозначает уже не доктрины, а состояние идеологического пространства в целом, которое возникло в ХХ веке.

Следовательно, правильно говорить не об отдельных идеях, а о состоянии тоталитаризма, в которое вошли европейская мысль и европейская политика в прошлом столетии.

«Состояние тоталитаризма» и есть конечный продукт развития европейской мысли после 1789 года.

Подлинным конкурентом тоталитаризма было и остаётся только христианство.

**БОЛЬШИНСТВО КАК КОНСТИТУТИВНЫЙ ПРИЗНАК ТРАДИЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ**

Развитие политической ситуации в России всё чаще даёт повод задуматься о роли «фактора большинства» в современном обществе.

Политологи знают о существовании в России социальной группы, для членов которой характерно желание именовать самих себя «гражданским обществом». При такой попытке выдать часть за целое социальный баланс стремительно рушится, как уже не раз было в 90-е. Очевидно, что в такой ситуации остальная, причём подавляющая часть общества получает по умолчанию статус негражданской. Поэтому выступление активистов «гражданского общества» от имени всего общества и вытеснение «лишней» его части с политических площадок объективно ведёт к распаду гражданского общества как такового.

Выводы на эту тему меня заставил сделать российско-германский форум «Петербургский диалог», в котором мне довелось участвовать в 2013 году. С российской стороны на нём преобладали именно те, кто по собственному почину сделал «гражданственность» своей эксклюзивной профессией. Они добросовестно излагали неолиберальный взгляд на социальное строительство. Участникам форума пришлось услышать, что сегодняшний мир, оказывается, чужд традиций. Культурных, исторических, религиозных, любых. Услышать, что традиции — это пройденный этап. Не существует, по мнению профессиональных граждан, и коллективного субъекта, разделяющего ту или иную традицию. Общественные связи возникают как бы сами собой, в порядке свободной конвенции, здесь и сейчас. Как если бы мы все оказались колонистами на далёкой планете, и нам бы пришлось начинать жизнь с чистого листа.

В числе слушателей были российские и немецкие студенты. Получив слово, я, не тратя времени на полемику, решил напомнить немецким студентам о трагических страницах в истории их страны. О том, как Германия была унижена Версальским договором, как ущемлённое национальное чувство было использовано Гитлером для построения расистской утопии. Как германская нация испытала горечь поражения и бесчестия, была раздавлена и расчленена, но смогла возродиться, стать правительницей континентальной Европы, воплотить мечту Карла Великого.

«Благодаря кому нация восстала к новой жизни?» — задал я вопрос немецкой части аудитории. Конечно, благодаря народному большинству и его традиции.

Российские участники были возмущены моими речами. Немцы — напротив. Они тихими голосами задавали вопросы: как определить традиционные ценности, как функционирует современная система колониализма, существует ли социальное измерение этики… В кулуарах молодые немецкие юноши и девушки по одиночке, оглядываясь по сторонам, пробирались ко мне, чтобы выразить благодарность и пожать руку. Они давно ничего подобного не слышали. Они разделяли мои взгляды, но не думали, что на официальном форуме в Петербурге можно произносить такие слова. И только одна немецкая студентка, не проявившая ни восторга, ни раздражения, захотела уточнить мою позицию. Она спросила: «Что такое большинство?» В тот момент вопрос меня не удивил. Мне казалось, всё моё выступление было ответом на него.

В очередной раз задуматься на эту тему всех заставили события в Бирюлёве осенью 2013 года. Прежде всего потому, что фактор большинства, сыгравший громадную роль в протестах, мало чем отличавшихся от беспорядков в Греции и во Франции, похоже, так и не был впоследствии учтён во время «разбора полетов». В течение последних лет национальные диаспоры стали в России негласным субъектом политики, причём довольно влиятельным. В столице есть анклавы, где этнический криминал подменяет собой законную власть, и уже можно констатировать, что эти территории частично выпали из-под российской юрисдикции. Официальные лица стараются лишний раз не думать об этой проблеме, и лишь когда полицейскому пробивают голову, наступает кратковременное прозрение.

Когда полиция рассматривает то или иное убийство как «частный случай», возникает ощущение, что она не заинтересована в наведении порядка. А это неизбежно вызывает у людей соблазн навести его собственными силами. Пренебрежение к интересам, традициям и культуре большинства ведёт к битью витрин и переворачиванию автомобилей.

Национальное большинство в его исконном понимании — это просто люди с общими традициями, интересами, правовой культурой и историческими задачами. Но чиновники пока ещё не вполне это понимают. Возможно, что эта самоуспокоенность — результат господства релятивистской постмодернистской этики, в рамках которой пока ещё существует и Россия, и остальная Европа. Отдельные политологи и общественники, находящиеся в плену этой парадигмы вопреки императиву профессиональной критичности, и сегодня утверждают, что «в сложном, меняющемся мире» интересы людей не сводимы к единому знаменателю. Или наоборот: что большинство существует лишь как носитель тоталитарного «анонимного сознания».

Обратимся к истории Европы. Именно фактор большинства, во всяком случае, городского большинства, стал двигателем буржуазных революций, которые утвердили в мире господство либеральной модели. Например, в ходе английской революции Джон Лильберн, представитель партии левеллеров, писал: «Вся власть изначально и по своей сущности исходит от народа и, следовательно, принадлежит только ему. Свободный выбор этого народа и его согласие, выраженное через его представителей, — единственное основание всякого справедливого управления**»**[[44]](#footnote-44).

Но в начале XXI века процесс вошёл в стадию самоотрицания. Народное большинство, как и сама демократия, стали неудобны правящему слою: они слишком связаны с традицией, с нравственными устоями, мешают «диверсификации» культур и моделей поведения.

Как писал историк и экономист Иммануил Валлерстайн, «меритократическая мобильность в огромной степени остаётся возможностью лишь для меньшинства, поскольку меритократия — это ложный универсализм. Он провозглашает универсальную возможность, которая по определению имеет реальное значение только если она неуниверсальна. Меритократия внутренне элитарна»[[45]](#footnote-45). Иными словами, общество рыночной конкуренции неизбежно в качестве «достойных» выдвигает именно «состоятельных», а власть последних поддерживает себя только и исключительно в режиме денежного элитизма. Не только демократия (власть большинства), но даже сколько-нибудь серьёзные социальные лифты в такой ситуации просто невозможны.

«Второй главной добродетелью, которую ставит себе в заслугу капиталистическая цивилизация, является то, что она выпестовала демократию и позволила ей расцвести...» Между тем «главным стимулом (drive) для демократии является эгалитаризм. Контрстимулов два: привилегии и компетентность; результатом реализации обоих является иерархия... Защитники капиталистической цивилизации утверждают, что она была первой исторической системой, покончившей с иерархией привилегий. Конечно, добавляют они, иерархия, основанная на компетентности, (competent performance), существовала, и её надо поддерживать...» [[46]](#footnote-46).

Разумеется, процедуры верификации этой самой «компетентности» вырабытываются в рамках всё тех же «компетенций» (как если бы следователь и судья были лучшими друзьями обвиняемого).

Неудивительно, что «критики капиталистической цивилизации обвиняют её в обмане. Они заявляют, что под маской компетентности скрывается иерархия, основанная на привилегиях». Поэтому даже «оценка формального избирательного права... часто вызывает скепсис. Однако даже если забыть об этом, то главный аргумент против тезиса о демократизации как достижении капиталистической цивилизации — это упадок коммунитарных институтов в современном мире одновременно с подъёмом избирательных систем. Утверждают: то, что стало победой на одном поле, означало намного большую утрату на другом»[[47]](#footnote-47).

Отсюда попытка дискредитировать категорию большинства. Именно дискредитировать, а не отменить. Ведь сразу и открыто порвать с демократической традицией — традицией vox populi — невозможно. У многих ещё стоят перед глазами страницы прочитанных в школе учебников. При резком развороте от демократии к либеральному элитаризму лодка может перевернуться. А это означало бы смену основополагающего гражданского культа, к которой общественное мнение Запада пока не готово.

Политическому классу и масс-медиа приходится делать реверансы. Понятие «демократия», тесно связанное с понятием «большинство», в рамках современной либеральной парадигмы намеренно раздроблено. Сегодня хорошим тоном в политологии и медиасфере стало разделение демократии на «зрелую» и «незрелую», «архаичную» и «цивилизованную». Некоторые российские политологи услужливо поспешили внести и свои «пять копеек» в этот процесс, выдумав демократию «суверенную».

А всё дело в том, что сегодня либеральные требования к обществу всё больше расходятся с принципами классической демократии, хотя политические эксперты ещё не решаются это признать. Но рано или поздно придётся сказать об этом вслух и сделать главный выбор нашего времени — выбор между демократией и либерализмом. Выбрав демократию, политический класс сделает новый поворот к традиции, который сам по себе неизбежен, человечным, социально ориентированным, без фундаменталистских крайностей, — словом, обеспечит европейской цивилизации мягкую посадку.

Эпоха политкорректности завершает свой цикл. Набирает силу новая тенденция — поиск человечеством нового морального консенсуса. Об этом сегодня говорят представители многих христианских конфессий, причём в последнее время — не только традиционалисты. Традиционализм в связке с социальной демократией и представляет собой выход из опасного либерального тупика.

**ХЛЕБНЫЙ БАРРЕЛЬ: ФАКТОР РЕСУРСНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ**

Общим местом для многих историков стало утверждение о том, что историческим проклятием России стала её ресурсная зависимость. Причём сформировалась эта национальная особенность задолго до «газонефтянки».

Кто-то начинает отсчитывать зависимость страны от моноресурса с «эры пушнины». Но нам представляется гораздо более существенной и показательной эпоха экспорта зерна. Во-первых, в связи с её долгосрочностью (как минимум со времени Ивана Грозного до середины ХХ века). Во-вторых, логика и структура хлебной экономики гораздо больше напоминают современную энергетическую экономику. В-третьих, такой подход даёт возможность нащупать прямую связь между экономикой и политикой. Он позволяет показать, что хлебная специализация в мировом разделении труда была не первопричиной, а закономерным следствием выбора российскими элитами полуколониального, экстенсивного пути развития, который не преодолён и сегодня.

Закономерен вопрос: почему для Норвегии или Канады, несмотря на нефтяные запасы, ресурсная зависимость не закрыла путь к диверсификации экономики, а для России зависимость от диктата глобального рынка до сих пор является фатальной. Изучение хлебной экономики и соответствующей ей политической модели позволяет дать частичный ответ на этот вопрос. Итак, поговорим о зерне.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Русская жизнь знает много вечных вопросов: «Кто виноват?», «Что делать?», «Как жить дальше?». Но есть один вечный ответ, который стоил буквально всех этих вопросов, вместе взятых, — «Не доедим, но вывезем!». Так говорили влиятельные землевладельцы Российской империи, получавшие сверхприбыли от торговли хлебом на мировом рынке. Говорили, решая этот вопрос за всю крестьянскую Россию, обрекая крестьян на голод и бесправие. Поэтому в действительности вопрос о земле является подлинным стержнем русской истории вплоть до начала ХХ века. Проследим эту хлебную тему.

В IX-X веках Русь имела все шансы состояться в будущем как торговая республика, а не аграрное царство. Русские города могли уподобиться Новгороду и Пскову или городам Ганзейской лиги благодаря торговому пути «из варяг в греки». Этот путь приносил огромные прибыли в период расцвета торговли между северной Европой и Византией. Но исторические обстоятельства неожиданно изменились. После возвышения Константинополя в XII веке главные торговые пути стали проходить через Средиземноморье, а речной путь потерял свое значение. Для Руси это была болезненная перемена, связанная с упадком городов, возвращением к возделыванию земли как основному извлечению материального ресурса. Не имея возможности получать прибыль в качестве торгового посредника, Русь превращается в централизованную аграрную страну и живёт «с земли».

Такой хозяйственно-политический формат основан на вассальных отношениях. Княжеская дружина собирает дань с   
крестьян, появляется рынок земли, крестьяне продают себя за долги «в заклад». В середине XV века эта практика формализуется. Крестьян начинают прикреплять к той или иной «земле», делая соответствующие записи в специальных книгах. Судебник 1550 года уже лишает права выходить из зависимости: в случае невыплаты долга крестьянин считается холопом. Причём «отработка долга» становится семейным делом и переходит по наследству. Так возникает крепостное право в привычном для нас понимании.

А в это время в Европе наблюдается рост городского населения, которое становится всё труднее прокормить, несмотря даже не периодически вспыхивающие эпидемии. И Россия, используя дешёвый холопский труд, начинает поставлять хлеб западным соседям. Постепенно вывоз хлеба становится основной статьей внешней торговли. А важнейшим активом русских бизнес-элит становится земля, на которой его выращивают. Разумеется, эта ситуация порождает соблазн переделов и рейдерских захватов. До поры до времени земля находилась в руках очень узкой боярской прослойки. В какой-то момент Иван Грозный решает обуздать хлебных баронов, добиваясь нового консенсуса. Но действует он куда радикальнее, чем российская власть в начале 2000-х.

«Избранная рада» во главе с Алексеем Адашевым и протопопом Сильвестром укрепляют властную вертикаль. С благословения царя правительство Адашева проводит частичную экспроприацию — стремится более или менее уравнять земельные наделы. Боярство сопротивляется. Выезд опальных бояр в Литву (ехать в Лондон в то время ещё было далековато, а «Вольную типографию» «курбским» заменяла переписка с первым лицом) был вполне в духе времени. Тогда Иван Грозный создаёт опричнину с целью приструнить боярскую знать и перераспределить землю в пользу будущего сословия дворян. Политика монархического «социализма» потребовала жёстких мер, но «чрезвычайщина», как это часто бывает, вышла из-под контроля.

Теперь за право получать хлебные прибыли необходимо было быть лояльным и хорошо служить монарху, в чём и заключалась сущность дворянского «служилого» сословия — в отличие от вольного боярского.

Постепенно ужесточается государственная политика по отношению к крестьянам. Если до XVII века помещики разыскивали беглых крестьян в частном порядке, то при Василии Шуйском (1607 год) побег крестьянина от помещика был переведён в категорию государственных преступлений. Сыск теперь вёл не помещик собственными силами, а полиция.  
 А хлебная лихорадка продолжается. Темпы вывоза зерна в Англию и Швецию растут год от года. Именно в XVII веке Россия превращается в «житницу Европы», но, несмотря на красивое название, ничего хорошего большинству народа этот статус не сулит. Положение хлебного придатка Запада запускает в России компрадорскую экономику и вызывает к жизни печальный принцип «Не доедим, но вывезем!».

Хлебная лихорадка порождает множество спорных решений в верхах. Эти факты противоречат образу просвещённых царей, каковыми либеральные западные и советские историки привыкли изображать Алексея Михайловича, Петра I, Екатерину II. «Либеральные реформы» царей-реформаторов имели целью усилить бюрократический контроль и давление на «низы» с целью сделать экономику России более «эффективной». Причём эффективность понималась как возможность за меньший срок с меньшими издержками извлечь максимум прибыли, продав русский хлеб на мировых рынках.

Эти элементы капитализма и реформаторства прочно удерживали Россию на «хлебной игле» и отнюдь не способствовали развитию технологий, самоуправления и улучшению общественных нравов. В частности, уважению к личности. Напротив, труд холопов оставался примитивным, положение всё более бесправным, а власть бюрократии всё более жёсткой.

Работа на глобальный рынок, зависимость от западных экономических, а затем неизбежно и политических центров силы укрепляли в России полицейско-крепостной режим и сталкивали страну в «отсталость». Хлебная рента, а вовсе не монархия была подлинным источником «ужасов самодержавия». Так, вышедшее в 1649 году Соборное уложение Алексея Михайловича сделало сыск беглых крестьян пожизненным.

«Закручивание гаек» продолжается при Петре I. В 1718 – 1724 годах он проводит податную реформу, в соответствии с которой подворное обложение заменяет подушная подать. То есть налог теперь взимается не с каждого домашнего хозяйства, а с каждого мужчины независимо от возраста. Между тем бесплатный труд растёт в цене и каждые рабочие руки подлежат учёту — проводится перепись населения. Искусственно создаётся сословие государственных крестьян, которые работают батраками на мануфактурах, — такова цена первой российской индустриализации. Но о том, чтобы сгонять крестьян в города, как в 1930-е годы, речь всё же не идёт. Тем не менее в 1700-е годы создаётся паспортная система и вводится жёсткий контроль за передвижением населения. Крестьянин, уходящий на заработки далее чем на 30 верст от места жительства, должен был иметь при себе паспорт с указанием срока возвращения. Это напоминает будущую советскую систему, при которой колхозников оставляли без паспортов, а в случае выезда из района проживания выдавали удостоверение сроком на месяц.

В сущности именно ограничение свободы работника в России было её конкурентным преимуществом на мировом рынке, так что всё происходило строго по законам капиталистической конкуренции.

Подобное ужесточение было вызвано не грубыми нравами царей и «вечной русской отсталостью», а потребностями западной экономики, которые послушно удовлетворяли русские землевладельцы с помощью «полицейщины» и бюрократии. Тогда как монархи либо не имели достаточно власти, чтобы противостоять хлебной олигархии, либо перераспределяли зерновые потоки в пользу государства. Во всяком случае, о том, чтобы сломать систему зерновой зависимости России от Европы и взять под контроль «хлебный баррель», речь не шла.

Так, в 1705 году вводится государственная монополия на торговлю зерном, а помещики, напротив, лоббируют «свободу торговли». Но дело тут, конечно, не в «свободе». Просто государство и помещики борятся за выгодную статью доходов: каждый хочет быть европейским поставщиком. Возникают компромиссы. Например, свобода «отпускать хлеб за море безвозбранно» сопровождалась установлением фиксированных цен на рожь в Московской губернии (4 рубля за четверть).

Словом, хлебный «баррель» играл в России XVII-XVIII веков примерно такую же роль, как углеводородный баррель сегодня.

Указом Петра I «О крепости крестьянской» от 1711 года ужесточаются условия зависимости: крестьян можно продавать как с землёй, так и без земли, разлучать с членами семьи, отправлять в Сибирь, на мануфактуру или рудники за малейшую провинность без всякого суда. Такова цена петровской «европеизации».

По закону 1762 года дворяне освобождаются от обязательной государственной службы, но крепостную «службу» крестьян оставляют в силе. За знаменитым «Указом о вольности дворянства» так и не последовал аналогичный по содержанию указ о вольности крестьянства. Хотя среди крестьян ходили упорные слухи о том, что Пётр III готовил им освобождение и как раз поэтому Екатерина свергла его с престола. «Истинный царь пострадал за народ»... Этот слух становится одним из мотивов пугачёвского бунта.

После поражения русских в войне с французами в 1807 году Наполеон потребовал у России присоединиться к экономическим санкциям, введённым им против враждебной ему Британии, — принять участие в так называемой «континентальной блокаде». Поскольку Англия была главным покупателем русского зерна, эти санкции ударили и по российским латифундистам. Хлебная олигархия терпела убытки и проклинала власть за потворствование интересам тирана Буонапарте и ущемление благородного и свободолюбивого торгового сословия. Зато хлеб пошёл на внутренний рынок, и для крестьян настало счастливое время, которое продлилось целых 10 лет и получило название «хлебного десятилетия».

О подготовке крестьянской реформы в «верхах» говорят постоянно, но конкурс проектов этой реформы, объявленный Александром I в 1819 году, надолго затянулся, а хлебный «баррель» как раз в это время резко упал в цене. Ради спасения дворян от разорения реформу свернули.

Историки хорошо знают о ярком событии 1841 года, когда английский премьер Роберт Пиль вызвал к себе русского посланника Филиппа Бруннова и убеждал его в том, что «промышленность вредна для России», поскольку та самим Богом создана для возделывания земли (из донесения Бруннова К. Н. Нессельроде). Здесь мы сталкиваемся с одной из первых попыток внешнего влияния на экономику страны, причём влияния в совершенно «почвенническом» духе. Аграрная Россия нужна английской элите в качестве поставщика зерна, то есть «хлебного придатка». А вот Россия промышленная не нужна ни в каком виде, поскольку в этом случае она превратилась бы в потенциального конкурента. Так выглядит принцип мирового разделения труда в глобальной экономике XIX века, который в то время осуществлялся более или менее бесхитростными методами. Но экономическая зависимость страны видна как на ладони.

Логистика доставки хлеба на европейские рынки всё время ставит перед Россией «вопрос проливов» (Босфор и Дарданеллы), что в значительной степени определяет логику русско-турецких войн, включая проигранную Крымскую. Данный мотив играл в российской внешней политике едва ли меньшую роль, нежели абстрактные мечты о «возвращении Константинополя», столь красиво и убедительно изложенные впоследствии философом Константином Леонтьевым.

Наконец из уст только что взошедшего на престол Александра II прозвучала историческая фраза: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, когда оно начнет отменяться снизу». Работа над аграрной реформой возобновилась — и вовремя, поскольку крестьяне уже начинают саботировать процесс хлебозаготовок и вместо «рыночной», «европейской» пшеницы начинают выращивать для себя «мужицкий хлеб» — рожь.

В 1861 году произошла та самая историческая отмена крепостного права, в результате которой пострадали и крестьяне, и помещики. Впереди — знаменитое разорение «дворянских гнёзд». Отсюда и хрестоматийное некрасовское:

«Порвалась цепь великая,

Порвалась — расскочилася

Одним концом по барину,

Другим по мужику!..»

(Н. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»)

И всё-таки реформа 1861 года по отношению к крестьянам была в каком-то смысле милостива. По закону помещик должен был предоставить крестьянину участок земли, а крестьянин, работая на нём, — платить помещику оброк или делать отработки. Но на деле первые после полученной свободы часто спивались или уходили в город, а вторые разорялись.

Тем не менее в стане революционной демократии реформу Александра II называют грабительской, а в стране появляется организация «Земля и воля» (1876 г.), члены которой готовы выступать защитниками крестьянских интересов.

В 1881 году происходит симптоматичное событие, о котором нечасто вспоминают учебники и которое само по себе вроде бы ничего не меняло. Карл Маркс в переписке с Верой Засулич признаётся, что в России переход к коммунизму возможен только через крестьянскую общину, поскольку господствующая в России форма собственности имеет мало общего с таковой в Западной Европе. В частности, в России почти нет промышленного пролетариата. Даже будучи стопроцентным материалистом, Маркс понимал решающую роль традиции — пусть даже только хозяйственно-экономической, но традиции — в историческом национальном развитии, в отличие от русских марксистов-догматиков. Таким образом, принципиальный спор между русскими народниками и русскими социал-демократами сам автор «Капитала» разрешил в пользу народников. В этой ситуации быть «большим католиком, чем сам папа» — большим марксистом, чем Карл Маркс, — было уже как-то не с руки. Поэтому письмо вызвало панику. Его скрывали, и оно появилось в открытой печати лишь через несколько лет.

Надо сказать, что в ХХ веке большевики, в отличие от меньшевиков, сделали кое-какие выводы из этой истории, изменив тактику и отказавшись от формулы «к социализму через полноценный капитализм». Но народнические мечты об истинном социализме они всё же похоронили в угоду государственному коллективизму, прикрытому марксистской риторикой. Впоследствии им пришлось создавать городской и сельский пролетариат искусственно и в сжатые сроки, уничтожая крестьянство как класс. Этот путь не только стал ударом по русской традиции, русскому самоуправлению и социальной опоре русского общества. Он также предопределил зыбкость индустриальных и культурных новаций, в жертву которым большевики принесли традицию и общину. Именно отказ от традиции стал главной причиной, по которой советский проект закончился политическим крахом, а вовсе не мнимая безальтернативность «капиталистической экономики» и либеральной модели общества.

В последние годы XIX века в правительстве усиливаются позиции радикальных либералов, которые проводят всё более антикрестьянскую, антиобщинную политику. С. Ю. Витте берёт курс на разрушение общины и принимает законы об отмене крестьянской «круговой поруки». Это означало, в частности, что земельный вопрос в будущем собираются решать за счёт самих крестьян и их уравнительного общинного землевладения, а не за счёт хлебных олигархов, имевших землю в избытке. Первоначально программа либеральной аграрной реформы была сорвана так называемыми «реакционерами» — В. К. Плеве, К. П. Победоносцевым и П. Н. Дурново. Изданный под их влиянием 26 февраля 1903 г. манифест провозглашал неприкосновенность «общинного строя крестьянского землевладения». Но в дальнейшем программу антиобщинных реформ, сравнимых по историческому смыслу и значению с гайдаровско-чубайсовскими, всё же кулуарно продавили.

А дальше начинается самое интересное. На защиту того самого, что отстаивали «замшелые реакционеры» сверху, поднялись крестьяне снизу, несмотря на все теоретически существенные классовые противоречия. Практически против правительственных либералов выступили как консерваторы, так и социалисты. Начался крестьянский бунт, но не только в виде «пугачёвщины», а и в институционально организованных формах. Два съезда Всероссийского крестьянского союза в августе и ноябре 1905 года вынесли постановление: вся земля должна принадлежать крестьянам на принципах «уравнительного распределения и семейной обработки». Запрещалась продажа земли и использование при её обработке наёмной рабочей силы. Программа получилась социалистической по духу: без принудительного госколлективизма, без хлебной олигархии и наёмного труда, без частной собственности на землю, но с гарантированным правом личного владения землёй и торговлей сельскохозяйственным продуктом. Это и были несколько обновлённые принципы общинного землевладения.

Характерно, что по вопросу об общине в России фактически сложился консервативно-социалистический консенсус, только его стороны не до конца осознавали этот факт. А потому не могли объединить свои усилия. И даже Карл Маркс, судя по его высказанному ранее мнению, наверняка согласился бы с этой консервативно-социалистической программой. Мнение же либералов подтверждалось только самими либералами, что говорит о его реакционности и даже политической паразитарности в российских условиях. Полное игнорирование либеральными реформаторами мнений общества как «справа», так и «слева» и вынуждает задуматься о либеральной составляющей российского самодержавия. Мнение о том, что либеральная «партия» в России боролась за демократию и уважала мнение народа, плохо соотносится с реальностью, но при этом является довольно устойчивым мифом.

Вопрос, однако, в том, почему либеральная «партия» тем не менее одерживала политические победы, идя против общества, и на какие властные ресурсы она при этом опиралась. Ответ на этот вопрос мог бы многое прояснить в динамике исторических процессов в России.

Правительственные либералы оказались ещё большими догматиками, чем социал-демократы. Поэтому крестьянское и революционное движение 1905-1907 годов было разгромлено, а правительство пошло по предначертанному самим собой пути.

Большую роль в установлении новых порядков в аграрной сфере сыграл министр П. А. Столыпин, продолживший курс С. Ю. Витте на демонтаж общинного землепользования, в котором он видел препятствие для конкуренции и появления «крепкого собственника». Выделять из «общей крестьянской массы» этих «сильных людей» (то есть кулаков) он предлагал, искусственно ломая хозяйственный уклад и отрезая землю. Причём земля хлебных олигархов (помещиков) оказывалась нетронутой. Этих новых людей — «отрубников и хуторян» — крестьянская масса ненавидела и как могла боролась с ними.

30 августа 1909 года Л. Н. Толстой пишет П. А. Столыпину знаменитое письмо о том, что надо прислушаться к мнению народа и отказаться от продажи земли, которая для него священна. И даже ставит министру своеобразный ультиматум: «То, что делается теперь с законом 9 ноября, подобно мерам, которые бы принимались правительством в 50-х годах не для уничтожения крепостного права, а для утверждения его. <…> Письмо это пишу я только вам, и оно останется никому неизвестным в продолжение, скажем, хоть месяца. С первого же октября, если в вашей деятельности не будет никакого изменения, письмо это будет напечатано за границей»[[48]](#footnote-48). Разумеется, усилия Л. Н. Толстого не принесли никакого результата.

Несмотря на общую неудачу (отрубники и хуторяне неохотно выделялись из общины), столыпинская реформа достигла своих целей: община как возможный базис «русского социализма» была разрушена политическими верхами России, что во многом расчистило путь к власти большевикам.

Разрыв с общиной, с традицией народного самоуправления имел для страны поистине катастрофические последствия и, особенно на фоне начавшейся Первой мировой войны, привёл к падению прежнего режима. Можно смело утверждать: разрыв с общиной был одним из главных разрывов русской традиции. Он сыграл в нашей истории не менее важную роль, чем разрыв с традицией религиозной во время церковной реформы XVII века.

Февральская революция 1917 года вызывает к жизни крестьянские комитеты, которые экспроприируют землю и передают её в пользование сельским общинам. Крестьяне-общинники твёрдо заявляют о своём желании сделать землю не товаром, а достоянием общины, тем самым подтвердив «сермяжную правду» Толстого и Карла Маркса и опровергнув Столыпина и Витте. Движение в этом направлении началось без согласия Временного правительства.

26 октября выходит Декрет Второго Всероссийского съезда Советов о земле и вроде бы открывает дорогу переделу земли, но уже в 1918-м начинается продразверстка, а в 1920-м легально применяют методы «военного коммунизма», изымая хлеб у крестьян. Неудивительно, что крестьяне вновь восстали и на юге России, и на Украине, и в других областях. Популярный в то время лозунг — «Мы за большевиков, но против коммунистов». То есть за экспроприацию и «поравнение», но против военного коммунизма. Изменение генеральной линии принимается крестьянами за межпартийную или внутрипартийную борьбу.

Поскольку силовая практика большевизма продолжается, наступает голод в Поволжье, на Северном Кавказе и на Украине. Поэтому на съезде РКП(б) провозглашается новая экономическая политика (НЭП), а развёрстку заменяют натуральным налогом. Но эти экономические послабления сопровождались ужесточением мер контроля за населением. Крестьян вновь «прикрепляют к земле»: в 1925 году введён институт прописки и паспорта, но колхозники паспортов не получили. Чтобы покинуть свой район, колхозник должен был получить удостоверение сроком на 30 дней, и эти нормы действовали до середины 1970-х. Крестьяне тем временем придумывают собственную расшифровку аббревиатуры ВКП (б) — «второе крепостное право (большевиков)».

В 1927 году на фоне «кризиса хлебозаготовок» обостряются внутрипартийные споры о том, что хуже и существеннее — «неправильная аграрная политика» (Н. Бухарин) или «саботаж кулаков» (И. Сталин). Сталинская линия побеждает и начинается «великий перелом» — раскулачивание и переход к сплошной коллективизации. При этом вывоз зерна за границу растёт такими же темпами, как и до 1917 года. Зато цены, по которым хлеб скупает государство, минимальны.

Снова «не доедим, но вывезем». И снова во главе всего «хлебный баррель». На этот раз советский.

Парадокс в том, что хлебная политика советской России повторяет хлебную политику царской России. Вроде бы свершилась революция, но ничего не изменилось, разве что к экономической «чрезвычайщине» прибавилась политическая. СССР, также как и царская Россия, привязан к глобальной экономике хлебом. И когда падает курс английской валюты, в хлебных поставках начинаются перебои. В итоге советская экономика еле сводит концы с концами и пятилетний план рушится.

Таковы последствия сидения страны на зерновой игле. Частичное признание ошибок произошло лишь в 1930 году, когда вышла статья Сталина «Головокружение от успехов».

Колхозы нередко рассматриваются как советский вариант общины, но это очень спорная точка зрения. Конечно, элементы общинного сознания сохранялись и у колхозников, но в колхозах и речи не было о самоуправлении. Крестьяне работали за трудодни. Это очень похоже на форму крепостной зависимости, при которой государство («город») выступает как коллективный помещик. Напрашивается аналог – предприятия с государственными крестьянами, организованные при Петре I. Одновременно в 1932 году издаётся закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной (социалистической) собственности», известный как «закон о пяти колосках». По этому закону осуждались крестьяне, подбиравшие остатки зерна с колхозного или совхозного поля. Такое «крохоборство» грозило им лагерным сроком от 5 до 10 лет.

4 апреля 1933 г. Михаил Шолохов в письме к Сталину описывает ужасы коллективизации: массовые избиения колхозников и единоличников, пытки огнём и холодом, расстрелы, закапывание заживо. Сталин отвечает Шолохову в своей обычной манере:

«Дорогой тов. Шолохов! Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всём согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите не плохо. Но это только одна сторона дела. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию — без хлеба. Уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов... Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но всё же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали. Ну, всего хорошего и жму Вашу руку. Ваш И. Сталин» (И. В. Сталин — М. А. Шолохову 6 мая 1933 г.)[[49]](#footnote-49).

Крестьяне совершают массовый исход в города, спасаясь от голода и раскулачивания. Базой советской власти становится социальный гибрид: коллективизированные крестьяне в деревнях и урбанизированные крестьяне в городах. Один крестьянин вспоминал: «Была молва, что искусственный голод сделан Калининым, чтобы люди шли в колхоз. Как Дуров животных приучал голодом. Если колхозник перенесёт голод, то привыкнет к колхозу и лучше будет ценить колхозное производство»[[50]](#footnote-50).

В 1950-е, в хрущёвский период, в отношении деревни ставились задачи по освоению целинных и залежных земель и ликвидации «неперспективных деревень». После этого уже миллионы бывших крестьян потянулись в город.

В ноябре 1990 года Верховным Советом принимается закон «О земельной реформе», позволяющий получить землю в аренду, а тем временем специальная группа экспертов начинает проводить Программу приватизации земли и реорганизации сельскохозяйственных предприятий. Однако фермерство таким образом создать не получилось. Фермеры в глазах соседей-крестьян — это будущие мироеды-помещики. Им всячески вредят.

В 1998 году принимается «Земельный кодекс Российской Федерации», в котором прописано право собственности на землю. Либеральная земельная реформа не спасает аграрный бизнес. Землю скупают спекулянты, продавая её под освоение девелоперами, под частные коттеджи. Нецелевое использование земли процветает. Выясняется, что участки выгоднее застраивать, поскольку сельское хозяйство нерентабельно: урожай за 30 лет стоит меньше, чем сама земля для него.

До сих пор вопрос о земле в России висит в воздухе. И переход к концепции энергетической сверхдержавы отнюдь не делает его менее актуальным. Хлебная рента и сырьевая рента — проявления одного и того же фактора, определяющего российскую экономическую и политическую модель вплоть до сегодняшнего дня.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Обстоятельства, с которыми связан выход в свет данной книги, можно назвать историческим цейтнотом. Ситуация в мире развивается стремительно. Политические элиты Запада теряют контроль над созданной ими же мировой финансовой системой. Мировой рынок начинает сжиматься. Кто будет контролировать его «остаток»? Шанс США продлить свою гегемонию состоит в том, чтобы ослабить ЕС, столкнув его с Россией и евразийским пространством. А затем подчинить себе и Европу, и Россию, и Украину, завладев их экономиками. Политически Европа уже парализована, её элиты не в состоянии принимать решения в интересах собственных стран. В России всё наоборот: сильная экономическая зависимость при значительном политическом суверенитете. Сложить из двух «зеркальных» элементов взаимовыгодную комбинацию трудно: западным европейцам мешают стереотипы и фобии времён холодной войны. Но шанс прорвать идеологическую и информационную завесу, по-новому сформировать политическую повестку дня существует. Внести вклад в решение этой задачи и призвано это издание.

**Список литературы**

1. Eggert M. and Holsher L. (eds) (2013) Religion and Secularity. Transformations and Transfers of Religious Discourses in Europe and Asia. Leiden&Boston: Brill, 2013.
2. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.
3. George Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters, II (Harmondsworth), 1970.
4. Herbert M. One-Dimensional Man. Boston : Beacon, 1964.
5. Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster, 1996.
6. Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. Munchen, 1963.
7. Stark R., Finke R. Acts of Faith; Explaining the Human Side of Religion, University of California Press, 2000.
8. Cаркисянц М. Aнглийские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ». Курс лекций, прочитанный в Гейдельбергском университете / М. Саркисянц. — Спб : Академический проект, 2003.
9. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / Т. Адорно, М. Хоркхаймер, СПб. : Медиум ; Ювента, 1997.
10. Амин С. Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира / С. Амин. — М. : Издательство «Европа», 2007.
11. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери.— М., 1997.
12. Ахмедова М. Образ врага / М. Ахмедова // Русский репортер. — 2014.— № 24.
13. Белжеларский Е. Логика и смысл современного либерализма / Е. Белжеларский // Перелом. — М. : Пробел, 2013.
14. Бусел А. Евангелие от Маркса / А. Буссел. — М., 2008.
15. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлерстайн. — М., 2008.
16. Валлерстайн И. После либерализма / И. Валлерстайн. — М. : УРСС, 2003.
17. Всемирная история. Энциклопедия. Том 5 / Издательство социально-экономической литературы. М. , 1958.
18. Данилов Д. Auto da fe academica. «Письмо учёных» как квазирелигиозный феномен / Д. Данилов. — Русская жизнь.— 2007.— 3 августа.
19. Дрожжин С. Н. Призрак неонацизма. Сделано в Новой Европе / С.Н. Дрожжин. — М. : Алгоритм, 2006.
20. Зайберт Т. У левых нет готовых ответов на кризис / Т. Зайберт // Левая политика. — 2009 . — № 9.
21. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Том второй. Книга III / Ж. Кальвин. — М. : Издательство Российского Государственного Гуманитарного Университета, 1998.
22. Кантор М. К. Перспективы авангарда / М. К. Кантор / / Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. М. : Пробел, 2013.
23. Кроче Б. Либеральная концепция как концепция жизни / Б. Кроче // О свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). М., 2000.
24. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. — М. : Алетейя, 1998.
25. Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении. Издание К. Т. Солдатенкова / Т.-Р. Мальтус. — М., 1895.
26. Маркс К., Энгельс Ф. Письмо Энгельса П. Л. Лаврову. Сочинения. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М., 1935. — Т. XXVI.
27. Немцев В. С. Собранные во имя любви и истины. Минск: Церковь Пробуждение, 2007. С. 351.
28. Опалев С. А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора / С. А. Опалев // Религиоведческие исследования. — 2010. — № 3-4.
29. Синелина Ю. Ю. Циклический характер процесса секуляризации в России (Социологический анализ: конец XVII — начало XXI века) / Ю. Ю. Синелина // Автореф. на соиск. уч. степ. к. с. н. — М., 2009.
30. Сталин И. В. Сочинения / И. Сталин. — М. ; Тверь, 1946–2006. Т. 18.
31. Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма / П.-А. Тагиефф. — М. : Ладомир, 2009.
32. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. / Л.Н. Толстой. — М., 1928-1958. Т. 80.
33. Голод в Поволжье. Отрицание террора [Электронный ресурс]. — URL: <http://nnm.me/blogs/5k0peek/golod_v_povolzhe_otricanie_terrora/>.
34. Кантор М. Скифы в банке [Электронный ресурс]. — URL: <http://belport.by/106315-skify-v-banke.html>.
35. Кырлежев А. Эра постсекуляризма [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.religare.ru/2_101551.html> .
36. Магид М. Постимпериализм [Электронный ресурс]. — URL: <http://samlib.ru/m/magid_m_n/imperia.shtml>.
37. Нарочницкая Н. За что и с кем мы воевали? [Электронный ресурс]. — URL: <http://old.ves.lv/article/123808>.
38. Нисский Г. Против ростовщиков. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.pravmir.ru/protiv-rostovshhikov-i-kreditorov-propoved-svyatitelya-grigoriya-nisskogo>.
39. Прошлое: российский и немецкий подходы. [Электронный ресурс]. — URL: <http://scepsis.net/library/id_2536.html> .
40. Узланер Д. Россия — лаборатория постсекулярности. [Электронный ресурс]. — URL: <http://pstgu.ru/news/smi/2014/02/21/51260/>
41. Щипков А. Церковь перед угрозой секулярной реформации. [Электронный ресурс]. — URL: <http://religare.ru/2_94875.html> .

**Указатель имен**

Аверинцев С.

Адашев А.

Адорно Т.

Александр I

Александр II

Алексей Михайлович

Амин С.

Арендт Х.

Барт К.

Белжеларский Е.

Бергер П.

Бердяев Н.

Бжезинский З.

Бизер Э.

Бисмарк Отто фон

Бруннов Ф.

Булгаков С.

Бухарин Н.

Буш Дж.

Бэйнбридж Э.

Валлерстайн И.

Вильсон В.

Витте С.

Волоцкий И.

Волоцкий И.

Гитлер А.

Гоббс Т.

Грамши А.

Грилль Ф.

Данилов Д.

Дарвин Ч.

Дрожжин С.

Дурново П.

Екатерина II

Зайберт Т.

Засулич В.

Иван Грозный

Кальвин Ж.

Кантор М.

Карл Великий

Ключевский В.

Кроче Б.

Кырлежев А.

Ленин В.

Леонтьев К.

Лильберн Дж.

Лиотар Ж.-Ф.

Магид М.

Мальтус Р.

Маркс К.

Маркузе Г.

Меркель А.

Митрополит Филипп

Нарочницкая Н.

Негри А.

Некрасов Н.

Неронов И.

Нессельроде К.

Нибур Р.

Нисский Г.

Нокс Р.

Нольте Э.

Норвич Дж. Ю.

Оруэлл Дж.

Патриарх Кирилл

Патриарх Сергий

Патриарх Тихон

Петр I

Петр III

Печерский Ф.

Пиль Р.

Плеве В.

Победоносцев К.

Попер К.

Саркисянц М.

Свенцицкий В.

Соловьев С.

Сорский Н.

Сталин И.

Старк Р.

Столыпин П.

Тагиефф П.-А.

Тарасов А.

Толстой Л.

Узланер Д.

Фанон Ф.

Финк Р.

Фукуяма Ф.

Хабермас Ю.

Хантингтон С.

Хельшер Л.

Холл Дж.

Хоркхаймер М.

Шолохов М.

Шуйский В.

Яннакон Л.

Яценюк А.

**Об авторе**

*Щипков Александр Владимирович* — политолог, публицист, кандидат философских наук, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, главный редактор интернет-журнала RELIGARE.ru.

Один из ведущих специалистов в России по церковно-государственным отношениям. Автор множества научных и публицистических статей о религиозно-политической ситуации в России.

Автор книг:

— «Во что верит Россия» (курс лекций по социологии религии в Петербургском университете, 1998 г.)

— «Соборный двор» (сборник публицистических статей по церковно-государственным отношениям, 2003 г.)

— «Христианская демократия в России» (анализ российского христианского политического движения, 2004 г.)

— «Территория Церкви» (анализ антицерковной информационной кампании 2011-2012 годов, 2013 г.)

— «Религиозное измерение журналистики» (книга для чтения студентов факультетов журналистики, 2014 г.)

— «Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики (монография посвящена анализу современного неофашизма, 2015 г.)

— Составитель и автор сборника «ПЕРЕЛОМ» (сборник статей о справедливости традиции; с участием В. Третьякова, С. Черняховского, Евг. Белжеларского, М. Тюренкова, В. Потапова, М. Кантора, А. Щипкова; 2013 г.)

**About the Author**

*Shchipkov Alexander Vladimirovich* is a political expert, columnist, PhD, 3rd class active state advisor, director of Moscow Centre for Social Studies, editor-in-chief at Religare.ru. One of the leading experts in church-and-state relations. Author of a number of scientific and journalistic articles on religious and political situation in Russia.

Books:

— «What Russia believes in» (Lectures on religious sociology at Saint-Petersburg University, 1998)

— «Cathedral Court» (Articles on the church-and-state relations, 2003)

— «Christian Democracy in Russia» (analysis of the Russian Christian Political Movement, 2004)

— «The Territory of Church» (analysis of the 2011-2012 information campaign against Church, 2013)

— «The Religious Dimension of Journalism» (reading book for students in journalism, 2014)

- «Traditionalism, Liberalism and Neo-Nazism in the Realpolitik context» (the book is dedicated to analysis of Neo-Fascism as a contemporary phenomenon. 2015)

**Содержание**

Предисловие

I

Состояние постсекулярности

Христианская аксиология и социальное государство

Феномен социализации религии в контексте русской истории

Политическая эсхатология в постсекулярной современности

II

Национальная история как общественный договор

Три тоталитаризма: о состоянии идеологического пространства

Большинство как конститутивный признак традиционной демократии

Хлебный баррель: фактор ресурсной зависимости в российской экономике и политике

Заключение

Список литературы

Указатель имен

Об авторе

**Contents**

Introduction

I

The condition of post-secularity

Christian axiology and the social state

Socialization of religion in the context of Russian history

Political eschatology in the post-secular modernity

II

National history as a social contract

Three totalitarianisms: on the state of ideological space

The majority as a constitutive characteristic of traditional democracy

The grain barrel: natural resources dependence factor in Russian economy and politics

Conclusion

Reference index

Name index

About the author

\*\*\*

Научное издание

Щипков Александр Владимирович

**Национальная история как общественный договор:**

**от экономического гегемонизма – к консенсусу традиций**

Главный редактор издательства И. А. Савкин

Дизайн обложки И. Н. Граве

Оригинал-макет Л. Г. Иванова

Литературный редактор А. А. Климова

Корректор Д. Ю. Былинкина

Сакт-Петербург, 2015

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

*\*\*\**

1. См., напр., Stark R., Finke R. Acts of Faith; Explaining the Human Side of Religion, University of California Press, 2000; Синелина Ю. Ю. Циклический характер процесса секуляризации в России (Социологический анализ: конец XVII — начало XXI века) // Автореф. на соиск. уч. степ. к. с. н. М., 2009. С. 28, 37-39; Опалев С. А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора // Религиоведческие исследования. — 2010. — № 3-4, и др. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eggert M. and Holsher L. (eds) (2013) Religion and Secularity. Transformations and Transfers of Religious Discourses in Europe and Asia. Leiden&Boston: Brill, 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Там же, p. 55. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eggert M. and Holsher L. Religion and Secularity. Transformations and Transfers of Religious Discourses in Europe and Asia. Leiden&Boston: Brill, 2013. Р. 36. [↑](#footnote-ref-4)
5. Кырлежев А. Эра постсекуляризма. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.religare.ru/2_101551.html>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Узланер Д. Россия — лаборатория постсекулярности. [Электронный ресурс]. — URL: <http://pstgu.ru/news/smi/2014/02/21/51260/>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Узланер Д. Россия — лаборатория постсекулярности. [Электронный ресурс]. — URL: http://pstgu.ru/news/smi/2014/02/21/51260/. [↑](#footnote-ref-7)
8. Данилов Д. Auto da fe academica. «Письмо учёных» как квазирелигиозный феномен. — Русская жизнь.— 2007.— 3 августа. [↑](#footnote-ref-8)
9. По мысли Поппера, «в отличие от принципа верификации, критерий фальсифицируемости проводит демаркационную линию между утверждениями эмпирическими и неэмпирическими. Сказать, что положение ненаучно, не значит сказать, что оно бессмысленно. «Критерий демаркации, — писал Поппер в письме редактору журнала "Erkenntnis", — призван отделить научные системы от метафизических утверждений, в полной мере значимых систем». В «Postscriptum» (1957) он излагает свою программу метафизических исследований: «Атомизм — блестящий пример неконтролируемой метафизической теории, влияние которой на науку превосходит множество контролируемых теорий... Последняя грандиозная программа Фарадея, Максвелла, де Бройля и Эйнштейна — попытка понять мир в терминах непрерывности... Каждая из этих метафизических теорий давала научную программу, указывая направление адекватных объяснений и полагая возможной оценку глубины теории». Подобную роль выполняли в биологии теория эволюции, клеточная теория и теория бактерий как переносчиков инфекции. Атомизм в психологии проявился в посылке, что опыт состоит из сенситивных элементов. Таким образом, с точки зрения и психологической, и исторической, и логической сферу истинного нельзя отождествлять с областью эмпирически контролируемого знания. Впрочем, это не всё. Метафизические теории, хотя и осмысленные, нередко верные и всё же эмпирически неопровержимые, так или иначе могут быть объектом критики. Они не вне критики, ибо бытуют не изолированно от прочих теорий, а даны всегда в контексте объективно проблематичных ситуаций. Например, кантианский детерминизм — плоть от плоти ньютонианской науки того времени (мир как часовой механизм). И если следующая эпоха рождает образ мира как туманности, то неизбежно рушится то, что образует фон, в частности философская теория детерминизма Канта» (Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. М., 1997. С. 665.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М. : Алетейя, 1998. [↑](#footnote-ref-10)
11. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Том второй. Книга III. М. : Издательство РГГУ, 1998; Немцев В. С. Собранные во имя любви и истины. Минск: Церковь Пробуждение, 2007. С. 351. [↑](#footnote-ref-11)
12. Бусел А. Евангелие от Маркса. М., 2008. С. 237. [↑](#footnote-ref-12)
13. Мальтус Т.-Р. Опыт закона о народонаселении. Издание К. Т. Солдатенкова. М., 1895. C. 11. [↑](#footnote-ref-13)
14. Нисский Г. Против ростовщиков. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.pravmir.ru/protiv-rostovshhikov-i-kreditorov-propoved-svyatitelya-grigoriya-nisskogo>. [↑](#footnote-ref-14)
15. Маркс К., Энгельс Ф. Письмо Энгельса П. Л. Лаврову. Сочинения. Т. XXVI. М., 1935. С. 406-409. [↑](#footnote-ref-15)
16. Щипков А. Церковь перед угрозой секулярной реформации. [Электронный ресурс]. — URL: <http://religare.ru/2_94875.html>. [↑](#footnote-ref-16)
17. Кантор М. К. Перспективы авангарда // Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. М., 2013. С. 80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Кантор М. Скифы в банке. [Электронный ресурс]. — URL: <http://belport.by/106315-skify-v-banke.html>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ахмедова М. Образ врага // Русский репортер. — № 24. — 2014. — С. 40-41. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. Munchen, 1963. С. 51. [↑](#footnote-ref-20)
21. Нарочницкая Н. За что и с кем мы воевали? [Электронный ресурс]. — URL: <http://old.ves.lv/article/123808>. [↑](#footnote-ref-21)
22. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992. [↑](#footnote-ref-22)
23. Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Schuster, 1996. [↑](#footnote-ref-23)
24. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. СПб. : Медиум ; Ювента, 1997. [↑](#footnote-ref-24)
25. Herbert M. One-Dimensional Man. Boston : Beacon, 1964. [↑](#footnote-ref-25)
26. Валлерстайн И. После либерализма. М. : УРСС, 2003. [↑](#footnote-ref-26)
27. Валлерстайн И. После либерализма. М. : УРСС, 2003. С. 5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Валлерстайн И. После либерализма. М. : УРСС, 2003. С. 19. [↑](#footnote-ref-28)
29. Валлерстайн И. После либерализма. М. : УРСС, 2003. С. 17. [↑](#footnote-ref-29)
30. Валлерстайн И. После либерализма. М. : УРСС, 2003. С. 246. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же, с. 225. [↑](#footnote-ref-31)
32. Кроче Б. Либеральная концепция как концепция жизни // О свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века). М., 2000. С. 324. [↑](#footnote-ref-32)
33. Амин С. Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира. М. : Издательство «Европа», 2007. [↑](#footnote-ref-33)
34. Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М. : Ладомир, 2009. [↑](#footnote-ref-34)
35. Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ». Курс лекций, прочитанный в Гейдельбергском университете. Спб : Академический проект, 2003. [↑](#footnote-ref-35)
36. Цит. по: Cаркисянц М. Aнглийские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ». Курс лекций, прочитанный в Гейдельбергском университете. Спб : Академический проект, 2003. [↑](#footnote-ref-36)
37. George Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters, II (Harmondsworth), 1970. Р. 95. [↑](#footnote-ref-37)
38. Цит. по: Cаркисянц М. Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской «расе господ». Курс лекций, прочитанный в Гейдельбергском университете. Спб : Академический проект, 2003. [↑](#footnote-ref-38)
39. Магид М. Постимпериализм. [Электронный ресурс]. — URL: http://samlib.ru/m/magid\_m\_n/imperia.shtml. [↑](#footnote-ref-39)
40. Белжеларский Е. Логика и смысл современного либерализма // Перелом. М. : Пробел, 2013. С. 27. [↑](#footnote-ref-40)
41. См., напр., Дрожжин С. Н. Призрак неонацизма. Сделано в Новой Европе. М. : Алгоритм, 2006. [↑](#footnote-ref-41)
42. Прошлое: российский и немецкий подходы. [Электронный ресурс]. — URL: <http://scepsis.net/library/id_2536.html>. [↑](#footnote-ref-42)
43. Зайберт Т. У левых нет готовых ответов на кризис // Левая политика. — № 9. — 2009. — C. 99. [↑](#footnote-ref-43)
44. Всемирная история. Энциклопедия. Том 5 / Издательство социально-экономической литературы. М., 1958. [↑](#footnote-ref-44)
45. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 155. [↑](#footnote-ref-45)
46. Там же, с. 156. [↑](#footnote-ref-46)
47. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 156. [↑](#footnote-ref-47)
48. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. (1928-58). Т. 80. С. 79-81. [↑](#footnote-ref-48)
49. Сталин И. В. Сочинения: Т. 1–18. М. ; Тверь, 1946–2006. Т. 18. С. 49–50. [↑](#footnote-ref-49)
50. Голод в Поволжье. Отрицание террора. [Электронный ресурс]. — URL: <http://nnm.me/blogs/5k0peek/golod_v_povolzhe_otricanie_terrora/>. [↑](#footnote-ref-50)